

АВТОР — ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ «HUGO», «LOCUS»,
МЕМОРИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ДЖОНА КЭМБЕЛЛА

ГРЕГ ИГАН

ОТЧАЯНИЕ



«Блестяще. Фантастическая книга, расширяющая
интеллектуальные горизонты читателя...
Наслаждайтесь. Такие тексты появляются редко»
Starburst

Грег Иган
Отчаяние
Серия «Сны разума»
Серия «Субъективная космология», книга 3

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8320816
Отчаяние / Грег Иган.: АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-085363-2

Аннотация

Недалекое будущее, 2055 год. Мир, в котором мертвецы могут давать показания, журналисты превращают себя в живые камеры, генетические разработки спасают миллионы от голода, но обрекают целые государства на рабское существование, а люди, бегущие от цивилизации, способны создать свой собственный остров – анархическую утопию под названием Безгосударство – таково место действия романа «Отчаяние».

После долгих съемок спекулятивно-чернушных документальных фильмов о науке для канала ЗРИнет репортер Эндрю Уорт чувствует себя полностью измотанным. Настолько измотанным, что добровольно отказывается от потенциальной сенсации – съемок фильма о новом загадочном психическом заболевании под названием Отчаяние. Вместо этого он берется за менее престижную работу – материал о гениальной женщине-физике Вайолет Мосале. Мосала получила Нобелевскую премию в 25 лет и вот-вот огласит свою версию теории всего, пытающейся свести воедино все прочие существующие научные теории. Уорт еще не знает, что за Мосалой ведет охоту некая таинственная и влиятельная секта и что, возможно, созданная ею теория способна уничтожить привычный миропорядок. Задание, за которое Уорт взялся для разрядки, внезапно перестает казаться таким уж легким...

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	10
3	15
4	20
5	26
6	33
7	42
8	46
Часть вторая	50
9	50
10	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Грег Иган

Отчаяние

Автор благодарит Кэролайн Окли, Дебору Бил, Энтони Читема, Питера Робинсона, Люси Блэкберн, Аннабель Эйджер и Клаудию Шаффер

Greg Egan
Distress



Автор – лауреат премий «Hugo», «Locus», Мемориальной премии Джона Кэмбелла

Перевод с английского:

Е. Доброхотова-Майкова, М. Звенигородская

В оформлении обложки использована иллюстрация *М. Акининой*

Издательство благодарит литературные агентства Curtis Brown и The Van Lear Agency за содействие в приобретении прав

© Greg Egan, 1995. Published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC

© Е. Доброхотова-Майкова, М. Звенигородская, перевод, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Неправда что карта свободы завершится с исчезновением последней ненавистой границы когда останется вычислить аттракторы гроз и объяснить аритмию засух исследовать молекулярные диалекты лесов и саванн сложные как тысячи людских наречий и понять глубочайшую историю наших страстей из времен до мифологических

Я объявляю что ни один синдикат не владеет патентом на числа или монополией на единицу и ноль ни одно государство не властно над аденином и гуанином ни одна империя не правит квантовыми волнами И всем должно хватить места на празднике понимания ибо истину нельзя купить и продать навязать силой от нее невозможно скрыться или сбежать

Из «Технолиберации» Мутебы Казади, 2019

Часть первая

1

– Все в порядке. Умер. Можете его спрашивать.

Биоэтик-асексуал – немногословное юное существо с белокурыми дредами, в майке, на которой между рекламными объявлениями вспыхивал девиз «НЕТ ТВ!», – подписал(а) формуляр разрешения в ноутпаде судмедэксперта и отступил(а) в угол. Врачи скорой помощи отодвинули с дороги реанимационное оборудование, судмедэксперт быстро шагнула вперед. Она держала наготове шприц с первой дозой нейроконсерванта, который нельзя вводить до биологической смерти. Смесь антагонистов глутаминовой кислоты, блокаторов кальциевых каналов и антиоксидантов, способная за несколько часов отравить большинство жизненно важных органов, практически сразу остановила наиболее разрушительные биохимические процессы в мозгу пострадавшего.

Помощник судмедэксперта мгновенно подкатил тележку с принадлежностями посмертного оживления. Лоток с одноразовыми хирургическими инструментами, электронное оборудование, артериальный насос, соединенный с тремя огромными стеклянными емкостями, и что-то вроде сетки для волос из серой сверхпроводящей проволоки.

Луковский, следователь из отдела убийств, стоял рядом со мной. Он сказал:

– Будь все экипированы как вы, Уорт, в таком бы не было нужды. Мы бы прокручивали сцену преступления с начала до конца. Как пленку из черного ящика, когда разобьется самолет.

Я отвечал, не сводя глаз с операционного стола. Наши голоса сотрутся легко, а вот запечатлеть, как судмедэксперт присоединяет трубку с искусственной кровью, хотелось без перерывов.

– Если бы у каждого был оптический нервный отвод, не стали бы убийцы вырезать память из тела жертв?

– Стали бы, иногда. Но ведь этому парню мозги не раскурочили, верно?

– Погодите, вот фильм увидят.

Помощник судмедэксперта брызнул на голову убитого депиляторным ферментом, умелым движением руки в резиновой перчатке снял коротко стриженные волосы и бросил в пластиковый мешок. Тут я понял, почему волосы не рассыпаются, как в парикмахерской, – они сошли вместе со слоем кожи. Помощник приклеил к голому розовому скальпу «сетку» – переплетение электродов и сквид-датчиков. Судмедэксперт тем временем убедилась, что кровь поступает в артерию, сделала надрез в трахее и вставила трубку небольшого насоса взамен неработающих легких. Не для дыхания – только чтобы облегчить речь. Можно записывать нервные импульсы гортани и синтезировать звуки чисто электронными методами, но, видимо, голос звучит естественнее, если убитый ощущает и слышит привычные колебания воздуха. Помощник наложил на глаза убитого марлевую повязку: в редких случаях к коже лица возвращается чувствительность, а поскольку сетчатку сознательно не оживляют, проще всего сказать, что временная слепота вызвана травмой глаз.

Я снова подумал, с чего начать репортаж. *В 1888 году полицейские врачи сфотографировали зрачки одной из жертв Джека-потрошителя в надежде, что светочувствительные пигменты человеческого глаза запечатлели облик убийцы...*

Нет. Слишком банально. И не по делу: оживлять – вовсе не значит извлекать информацию из недвижимого трупа. От чего же оттолкнуться? Орфей? Лазарь? «Обезьянья лапка»?

«Сердце-обличитель»? «Реаниматор»? ¹ Никто из мифотворцев и литераторов не предвосхитил истину. Лучше обойтись без бойких сравнений. Пусть покойник говорит сам за себя.

Тело на операционном столе вздрогнуло. Временный стимулятор – такой силы, что через пятнадцать – двадцать минут побочные электрохимические продукты убьют все клетки сердечной мышцы, – заставлял умершее сердце биться. Насыщенная кислородом искусственная кровь поступала в левое предсердие, туда, куда попадала бы настоящая кровь из легких, однократно проходила сквозь тело и вытекала через легочные артерии в слив. Ради пятнадцати минут нет смысла налаживать более трудоемкую циркуляцию. На полуза-тянувшиеся ножевые раны в животе и груди страшно было смотреть, алая влага сочилась из дренажных каналов на операционный стол, однако опасности это не представляло – в сто раз больше крови откачивалось каждую секунду сознательно. Никто не потрудился убрать хирургические личинки, и те продолжали работать, словно все идет своим чередом: жвалами сшивали и химически прижигали мелкие кровеносные сосуды, очищали и дезинфицировали раны, слепо тыкались, ища, где съесть омертвевшие ткани или кровавые сгустки.

Кровоснабжение мозга, безусловно важное, не могло, однако, повернуть вспять процесс разрушения. Собственно, оживить должны были миллиарды липосом – микроскопических капсул, заключенных в липидные мембраны и поступающих вместе с искусственной кровью. Один из протеинов мембраны открывает барьер между кровью и мозгом, позволяя липосомам проникать из мозговых капилляров в межневральное пространство, другие заставляют саму мембрану растворяться в клеточной оболочке первого подходящего нейрона на ее пути, вываливая туда целый биохимический комплекс, который тут же пробуждает клетку, расчищает молекулярные завалы, вызванные ишемическими нарушениями, предотвращает отрицательные последствия реоксигенации.

Другие липосомы предназначались для других клеток: мышечного волокна голосовых связок, челюстей, губ, языка; рецепторов внутреннего уха. Все они содержат химические вещества и ферменты сходного действия: проникнув в умирающую клетку, они заставляют ее собраться с силами для одного – последнего – рывка.

Оживление – не высшая ступень реанимации. Оживление допускается лишь в том случае, когда о спасении пациента речь уже не идет, когда исчерпаны все известные средства.

Судмедэксперт взглянула на монитор посреди тележки. По экрану бежали волны неустойчивых мозговых ритмов, дрожащие черточки показывали уровень откачиваемых из тела ядов и продуктов разложения. Луковский нетерпеливо шагнул вперед. Я за ним.

Помощник нажал кнопку на пульте. Убитый дернулся и отхаркнул кровь – частью еще свою, темную, загустевшую. Пики на экране выросли, потом вновь сгладились, стали более равномерными.

Луковский взял убитого за руку, стиснул ладонь. Это отдавало цинизмом, хотя, возможно, я неправ, и следователем двигало искреннее сострадание. Я взглянул на биоэтика. Сейчас надпись на майке гласила: «НАДЕЖНОСТЬ – ЭТО ТОВАР». Непонятно, рекламный лозунг или чье-то личное соображение.

Луковский спросил:

– Дэниел? Дэнни? Ты меня слышишь?

Убитый не шелохнулся, однако волны на экране заплесали. Дэниела Каволини, девятнадцатилетнего студента консерватории, нашли около одиннадцати ночи истекающим кровью, без сознания, на железнодорожной станции Таун-холл. При нем были часы, ноутпад, ботинки, так что заурядное ограбление исключалось. Я уже две недели торчал в отделе по расследованию убийств, дожидаясь подобного случая. Ордер на оживление выписывают в

¹ «Обезьянья лапка» – рассказ У. У. Джексона (1863–1943). «Сердце-обличитель» – рассказ Э. По. «Реаниматор» – фильм ужасов С. Гордона по рассказу Лавкрафта.

одном случае: если предполагается, что жертва сможет назвать убийцу, – слишком мала вероятность получить надежный словесный портрет, тем более фоторобот незнакомого человека. Луковский разбудил прокурора сразу после полуночи, как только получил заключение.

Кожа Каволини начала приобретать странный багровый оттенок – все больше клеток оживали и включались в кислородный обмен. Непривычно окрашенные транспортные молекулы искусственной крови куда эффективнее гемоглобина, но, как большинство применяемых при оживлении средств, крайне токсичны.

Помощник судмедэксперта нажал еще кнопки. Каволини вздрогнул и снова закашлялся. Здесь требовался тонкий расчет: легкая встряска восстанавливает главные последовательные ритмы мозга, однако слишком сильное внешнее вмешательство способно уничтожить остатки кратковременной памяти. Даже после биологической смерти в глубине мозга остаются живые нейроны и еще несколько минут хранят символические образы последних воспоминаний. Оживление временно воссоздает нейронную инфраструктуру, позволяющую эти отблески извлечь, но если те окончательно погасли – или затухают в попытке усилить – допрос лишается смысла.

Луковский ласково сказал:

– Все хорошо, Дэнни. Ты в больнице. Скоро поправишься. Только скажи, кто это был. Кто ударил тебя ножом?

Из горла Каволини вырвался короткий слабый хрип. У меня мурашки пошли по коже – и при этом часть моего сознания ликовала, отказываясь верить, что этот признак жизни обманчив.

Со второй попытки Каволини сумел заговорить. Искусственное дыхание, неподвластное его усилиям, порождало странную иллюзию, будто он ловит ртом воздух, – жалкое зрелище, хотя на самом деле кислорода ему хватало. Речь была настолько сбивчивой, что я не разбирал ни слова, однако приклеенные к горлу Каволини пьезоэлектрические датчики соединялись с компьютером. Я перевел взгляд на экран.

Почему я не вижу?

Луковский сказал:

– У тебя на глазах повязка. Несколько кровеносных сосудов лопнули, но это поправимо. Ты не ослепнешь. Лежи спокойно, расслабься. И скажи, что случилось.

Который час? Пожалуйста. Мне надо позвонить домой. Предупредить...

– Мы сообщили твоим родителям. Они выехали, будут с минуты на минуту.

Луковский не лгал – но, даже если родители приедут в следующие девяносто секунд, сюда их не пустят.

– Ты ждал поезда в сторону дома, верно? На четвертой платформе? Помнишь? Десять тридцать на Стратфилд. Но в поезд не сел. Что случилось?

Луковский перевел взгляд на график под текстовым окном. Десяток кривых шел вверх, отражая улучшение жизненных показателей. Пунктирная компьютерная экстраполяция достигала пика на следующей минуте, потом быстро ныряла вниз.

У него был нож.

Правая рука Каволини сжалась, неподвижные до сих пор лицевые мускулы напряглись, их свела боль.

Очень больно. Сделайте что-нибудь.

Биоэтик спокойно взглянул(а) на экран, проверил(а) какие-то цифры, но вмешиваться не стал(а). Любая анестезия заглушила бы нейронную деятельность, сделала допрос невозможным. Надо было или продолжать, или отказаться от всей затеи.

Луковский сказал мягко:

– Медсестра сейчас даст болеутоляющего. Держись, приятель, осталось недолго. Только скажи: кто тебя ударил?

Оба вспотели; у Луковского рука была по локоть в искусственной крови. Я подумал: «Если б ты нашел его на улице в луже крови, ты бы задал те же вопросы? И произносил бы ту же утешительную ложь?»

– Кто это был, Дэнни?

Мой брат.

– Твой брат ударил тебя ножом?

Нет. Я не помню, что случилось. Спросите потом. У меня в голове путается.

– Почему ты сказал, что это был твой брат? Он тебя ударил или не он?

Конечно, не он. Никому не говорите, что я так сказал. Я все объясню, если вы перестанете сбивать меня с толку. А теперь можно мне болеутоляющего? Пожалуйста.

Лицо его кривилось и застывало, кривилось и застывало, словно маска сменялась маской, отчего страдание казалось наигранным, отвлеченным. Он замотал головой, сперва слабо, потом все сильнее. Я решил, что у него начался припадок: оживляющие средства перестимулировали поврежденные нейронные связи.

Внезапно Каволини поднял правую руку и сорвал повязку.

Голова его тут же перестала дергаться; может быть, кожа стала сверхчувствительной и повязка доставляла нестерпимые муки. Юноша раза два моргнул, потом сощурился от яркого света. Зрачки сократились, он вполне осмысленно повел глазами. Слегка приподнял голову, взглянул на Луковского, посмотрел на свое облепленное приборами тело, увидел плоский блестящий кабель сердечного стимулятора, трубки с искусственной кровью, ножевые раны, копошащихся белых личинок. Никто не шелохнулся, никто не раскрыл рта, покуда Каволини рассматривал иголки и электроды в своей груди, бьющую оттуда розовую струю, развороченные легкие, кислородную трубку. Экран был у него за спиной, однако все остальное можно было охватить одним взглядом. Через секунду Каволини понял и на глазах обмяк от мучительного прозрения.

Он открыл рот, снова закрыл. Выражение лица менялось молниеносно; сквозь маску боли проступило детское изумление, потом – почти радость от того, что загадка разрешилась так просто, возможно, даже восхищение тем необычайным, что над ним проделали. Какое-то мгновение казалось: он оценил блестящий, подлый, кровавый розыгрыш.

Потом он сказал четко, в промежутках между навязанными механическими вдохами:

– По... мо... ему... это... вы... пло... хо... при... ду... ма... ли. Я... боль... ше... не... хо... чу... го... во... рить.

Он закрыл глаза и откинулся на операционный стол. Кривые на экране быстро поползли вниз.

Луковский обернулся к судмедэксперту. Он посерел, но руку Каволини так и не выпустил.

– Почему сработала сетчатка? Что ты напортачила? Идиотка... – Он поднял левую руку, замахнулся на судмедэксперта, но не ударил.

На майке биоэтика вспыхнуло: «ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ ПОДАРИТ ВАМ СТИМУЛЯТОР, ВЫРАЩЕННЫЙ ИЗ ДНК ВАШЕГО ЛЮБИМОГО».

Судмедэксперт, не желая признавать свою вину, заорала:

– А вы чего тянули? Надо было снова и снова спрашивать про брата, пока уровень адреналина поднимался к красной черте!

Я подумал: «Интересно, кто определял нормальное содержание адреналина в крови человека, которого недавно зарезали, а в остальном он вполне спокоен?»

Кто-то у меня за спиной разразился нецензурной бранью. Я обернулся и увидел фельдшера, который привез Каволини в карете скорой помощи; я и не знал, что он еще здесь. Фельдшер глядел в пол, стиснув кулаки, и трясся от бешенства.

Луковский схватил меня за плечо, забрызгав искусственной кровью. Он говорил театральным шепотом, словно надеялся, что слова его не попадут в запись:

– Снимете следующего, ладно? Такого не случилось никогда – слышите, ни-ког-да, и если вы покажете единственный на миллион прокол...

Биоэтик встрял(а) примиряюще:

– Думаю, указания Тейлоровской комиссии по частичному запрету...

Помощник судмедэксперта взорвался:

– Тебя забыли спросить! Молчало бы уж, жалкое ты...

Где-то в электронном нутре оживляющих аппаратов завывала сирена. Помощник судмедэксперта склонился над пультом и замолотил по кнопкам, словно расходившийся ребенок по сломанной игрушке. Сирена смолкла.

В наступившей тишине я полуприкрыл глаза, вызвал **Очевидца** и отключил запись. Я видел достаточно.

Тут Дэниел Каволини очнулся и стал кричать.

Я посмотрел, как его накачивают морфием, и дождался, пока оживляющие лекарства его прикончат.

2

Было начало шестого, когда я спускался от станции Иствуд к дому. В бледном бесцветном небе медленно гасла Венера, однако улица выглядела в точности как днем. Только необъяснимо безлюдной. В вагоне я тоже ехал один. Время, когда остаешься последним человеком на Земле.

В сочной зелени по обеим сторонам железной дороги громко распевали птицы, их голоса доносились из парков, вкрапленных в окружающие предместья. Парки по большей части напоминают девственные леса, однако каждое деревце, каждый кустик созданы в биотехнологической лаборатории; засухо- и пожароустойчивые, они не сбрасывают на землю грязных, горючих листьев, сучков или коры. Мертвая растительная ткань всасывается и поглощается; я видел съемку с эффектом ускоренного движения (сам я такого не снимаю), на которой бурая пожухшая ветвь втягивалась в живой ствол. Большинство деревьев вырабатывает слабый электрический ток – исключительно химическим путем за счет солнечного света – и двадцать четыре часа в сутки качает запасенную энергию акционерам. Специальные корни отыскивают проложенные под парками сверхпроводниковые линии передач. Два с четвертью вольта никого не убьют, более высокое напряжение было бы опасным, однако передать на расстояние слабый ток может только провод с нулевым сопротивлением.

Часть фауны тоже подверглась улучшению: сороки не галдят даже весной, комары не сосут кровь, самые ядовитые змеи не способны укусить ребенка. Мелкие преимущества перед дикими собратьями, биохимическое родство с искусственной растительностью – и биоинженерные виды полностью вытеснили все прочие из городской микросистемы, однако сразу вымрут, случись им попасть в природные заказники, удаленные от человеческих обиталищ.

Я снимаю отдельный домик в самообеспечиваемом саду. В тупичке, плавно переходящем в парк, кроме нас живут всего три семьи. Снимаю девятый год, с тех пор как получил работу в ЗРИнет, но по-прежнему чувствую себя не в своей тарелке, словно забрался в чужой богатый дом. Иствуд расположен в восемнадцати километрах от центра Сиднея, и, хотя желающих селиться здесь все меньше, цены на недвижимость остаются вздутыми; мне этот дом не выкупить и за сто лет. Посильная (еле-еле) квартплата – просто везение; таким хитрым образом владелец уходит от налогов. Того и гляди, взмахнет бабочка крылышками над мировыми финансовыми рынками, компьютерные сети поумерят свою щедрость, или мой хозяин переключится на другую благотворительность, и вылечу я километров на пятьдесят западнее, в родимые трущобы.

После такой ночи дом должен казаться убежищем, однако я почти минуту трусливо мялся на пороге, не вставлял ключ.

Джина уже встала, оделась и завтракала. Я не видел ее со вчерашнего утра – словно бы и не выходил.

Она спросила:

– Как съемки?

(Я послал ей сообщение из больницы – мол, повезло наконец.)

– Не хочу об этом говорить.

Я ушел в гостиную и упал в кресло. Что-то случилось с вестибулярным аппаратом – мне показалось, будто я проваливаюсь в сиденье. Я сфокусировал взгляд на рисунке ковра, и ощущение понемногу прошло.

– Что случилось, Эндрю? – Джина последовала за мной в гостиную, – Какой-то сбой? Придется переснимать?

– Сказано тебе, не хочу...

Я осекся, поднял глаза и заставил себя сосредоточиться. Она растерялась, но еще не сердилась. *Правило третье: говори ей все, даже самое неприятное, при первой возможности. Хочется тебе или нет. Иначе она сочтет, что ты замыкаешься в себе, и смертельно обидится.*

Я сказал: «Переснимать не придется. Все позади», – и коротко изложил случившееся. Джина сникла.

– А что-нибудь из его слов стоило этой процедуры? То, что он сказал насчет брата, – есть тут какой-нибудь смысл или он просто бредил?

– Пока неясно. Брат – тот еще фруктец, осужден условно за покушение на мать. Его сейчас допрашивают, но все еще может кончиться ничем. Если у потерпевшего пропала кратковременная память, он мог все сочинить, подставить на место убийцы первого подходящего знакомого. Он ведь отказался от своих слов – может, он не брата выгораживал, а просто осознал, что ничего не помнит.

Джина сказала:

– Даже если брат действительно виновен, ни один суд не признает уликой два слова, которые потерпевший тут же взял обратно. Если кого-то осуждают, то не вследствие оживления.

Мне трудно было спорить и пришлось напрячься, чтобы взглянуть шире.

– В данном случае да. Однако бывало, что оживление решало все. Слова жертвы не имели бы веса в суде, однако они указывали на человека, которого иначе бы не заподозрили. Следователям удавалось собрать улики лишь потому, что убитый направил их по верному пути.

Джина упорствовала.

– Может, так и было раз или два, но все равно, цель не оправдывает средства. Надо запретить всю процедуру, – Она помолчала, – Но ведь ты, конечно, не включишь эту пленку в фильм?

– Конечно, включу.

– Ты покажешь человека, умирающего на операционном столе, в ту минуту, когда он осознает, что вернувшее его к жизни его же и добьет?

Джина говорила спокойно; она скорее не верила, чем возмущалась.

Я спросил:

– А что мне показать? Пусть актер разыграет сцену, где все пройдет гладко?

– Конечно, нет. Но почему бы актеру не разыграть то, что случилось сегодня ночью?

– Зачем? Это уже случилось, я уже это снял. Чего ради реконструировать?

– Хотя бы ради его семьи.

Я подумал: «Возможно. Но легче ли будет им смотреть реконструкцию? В любом случае, никто не заставит их смотреть фильм».

Вслух я произнес:

– Рассуди здраво. Материал сильнейший, я не могу его выкинуть. И я вправе его использовать. И полиция, и врачи разрешили съемку. Когда родные подпишут бумагу...

– Ты хочешь сказать, когда адвокаты твоей сети дождут их, заставят подписать отречение «в интересах общества».

Возразить было нечего: именно так оно и произойдет. Я ответил:

– Ты сама говоришь, что оживление надо запретить. Пленка этому и послужит. Такая доза франкенштухи удовлетворила бы самого оголтелого луддита...

Джина обиделась – непонятно, искренне или притворно.

– Я доктор технических наук, и если всякая темнота будет обзывать меня...

– Никто тебя не обзывал. Ты прекрасно понимаешь, о чем я.

– Если кто и луддит, так это ты. Весь твой проект отдает эдемистской пропагандой. «Мусорная ДНК»! А какой будет подзаголовок? «Биотехнологический кошмар»?

– Вроде того.

– Я не понимаю, почему бы тебе не включить хоть один положительный пример?

Я отвечал устало:

– Мы сто раз это обсуждали. Решаю не я. Сеть не купит материал, в котором отсутствует точка зрения. В данном случае оборотные стороны биотехнологии. Речь идет о выборе темы. Никому не нужна взвешенность. Она только смущает отдел маркетинга: поди разрекламируй фильм, который несет две взаимоисключающих мысли. По крайней мере он уравновесит идиотские восторги по поводу генной инженерии, а в конечном итоге как раз и покажет полную картину. Добавив то, что скрывают другие.

Джина стояла на своем.

– Старая песня. «Наши сенсации уравновесят их сенсации». Ничего они не уравновесят, только поляризуют мнения. Чем вас не устраивает спокойная, вдумчивая подача фактов, которая помогла бы запретить оживление и другие дикие зверства, но без всей этой навязшей в зубах нудятины насчет «вмешательства в природу»? Можно показать крайности, но в контексте. Ты помог бы людям разобраться в том, чего им требовать от правительства. А так они насмотрятся «Мусорной ДНК» и пойдут взрывать ближайшую биотехнологическую лабораторию.

Я свернулся в кресле и примостил голову на колени.

– Все, сдаюсь. Твоя правда. Я – дикий необразованный мракобес.

Она нахмурилась.

– Мракобес? Я этого не говорила. Ты порочный, ленивый и безответственный, но в неведение поклонники тебя еще записывать рано.

– Тронут твоей верой.

Она кинула в меня подушкой, думаю, нежно и ушла на кухню. Я закрыл лицо ладонями, и комната заходила ходуном.

Мне бы радоваться. Все позади. Оживление – последнее, чего недоставало «Мусорной ДНК». Не будет больше безумных миллиардеров, превращающих себя в самодостаточную ходячую экосистему. Не будет страховых фирм, изобретающих вживляемые датчики, которые следили бы за питанием, образом жизни, уровнем загрязнения среды, в которой живет клиент, – чтобы путем бесконечных вычислений установить вероятную причину и дату его смерти. Не будет «Добровольных аутистов», добивающихся права хирургически калечить себе мозги, чтобы достичь полноты состояния, не данного им природой...

Я прошел в кабинет и вытянул из компьютера кишку – световод. Задрал рубашку, выковырял из пупка грязь и ногтями вытащил телесного цвета затычку, обнажив короткую трубочку нержавеющей стали и полупрозрачный лазерный порт.

Джина крикнула из куши:

– Опять занимаешься противоестественной любовью с компьютером?

У меня не хватило сил ответить остроумно. Я соединил разъем, и монитор зажегся.

На экране появлялась вся перекачиваемая информация. Восемь часов съемки в минуту – сплошное мелькание, и все равно я отвел взгляд. Не хотелось видеть события сегодняшней ночи, даже в ускоренной перемотке.

Вошла Джина с тарелкой горячих тостов; я нажал кнопку, чтобы изображение исчезло. Она сказала:

– Все-таки не понимаю, как это: четыре тысячи терабайт оперативной памяти в животе – и ни одного видимого шрама.

Я взглянул на гнездо.

– А это что, по-твоему? Невидимое?

– Слишком маленькое. Схема на четыре тысячи терабайт имеет длину тридцать миллиметров. Я смотрела в каталоге изготовителя.

– Шерлок снова прав. Или я должен был сказать – Шейлок? Шрамы можно свести, ведь так?

– Да, но зачем уничтожать следы важнейшего обряда инициации?

– Только не надо антропологии.

– У меня есть альтернативная теория.

– Я ничего не подтверждаю и не опровергаю.

Джина скользнула глазами по черному экрану и остановилась на афише «Конфискатора»²: полицейский на мотоцикле возле помятого автомобиля. Она увидела, что я слежу за ее взглядом, и указала на подпись: «НЕ ГЛЯДИ В БАГАЖНИК!»

– В чем дело? Что в багажнике?

Я рассмеялся.

– Проняло-таки? Придется смотреть фильм?

– Ага.

Компьютер пискнул. Я отсоединился. Джина глядела на меня с любопытством, видимо, что-то такое было написано на моей физиономии.

– Это как в постели? Или как в сортире?

– Как на исповеди.

– В жизни не была на исповеди.

– Я тоже. Но в кино видел. Впрочем, шучу. Ни на что это не похоже.

Она взглянула на часы, поцеловала меня в щеку, запачкав хлебными крошками.

– Пора бежать. А ты поспи, дурачок. На тебя смотреть страшно.

Я сел и стал слушать, как Джина собирается. Каждое утро она полтора часа едет поездом до Центрального научно-исследовательского института воздушных турбин к западу от Блу-Маунтинс. Я обычно встаю вместе с ней, очень уж грустно просыпаться одному.

Я подумал: *Я ее люблю. Если сосредоточиться, если следовать правилам, у нас не будет причины расстаться. Я уже приближался к своему рекорду – восемнадцать месяцев, но это не повод для тревоги. Мы легко перевалим полуторагодовой рубеж.*

Джина заглянула в комнату.

– И долго тебе теперь монтировать?

– Три недели ровно. Считая сегодняшний день.

Напоминание неприятно резануло слух.

– Сегодня не считается. Поспи.

Мы поцеловались. Она вышла. Я развернул стул к черному экрану.

Ничто не позади. Прежде чем расстаться с Дэниелом Каволини, мне предстоит сто раз увидеть его смерть.

Я поплелся в спальню, разделся, бросил одежду в чистку и включил машину. Полимерные ткани сперва окутались легким дымком – они отдавали влагу, затем грязь и засохший пот преобразовались в тонкую летучую пыль, которая удаляется электростатически. Я посмотрел, как бежит в приемник привычная голубоватая струйка (цвет не зависит от природы грязи, его определяет размер частиц), быстро принял душ и забрался в постель.

Будильник я поставил на два часа дня. Фармацевтический блок рядом с будильником спросил: «Приготовить мелатониновый курс, который к завтрашнему вечеру вернет тебя в норму?»

² «Конфискатор» (или «Эвакуатор») – культовый фантастический фильм А. Кокса (1984).

– Приготовь, – Я прижал большой палец к стеклянной трубке, крохотное перышко чуть царапнуло кожу, выдавило еле заметную капельку крови. Неинвазивные микроанализаторы вот уже два года как появились в продаже, но для меня они еще дороговаты.

– Дать снотворного?

– Угу.

Фармаблок тихо загудел, готовя лекарство в точности по моему теперешнему биохимическому состоянию и ровно столько, чтобы я проспал до двух. Встроенный синтезатор использует набор программируемых катализаторов, десять миллиардов электронно преобразуемых ферментов в полупроводниковой микросхеме. Процессор погружается в раствор исходных молекул и может синтезировать несколько миллиграммов любого из десяти тысяч лекарств. Во всяком случае любого лекарства, на которое у меня есть программа и оплачена лицензия.

Машина выдала маленькую, еще теплую таблетку. Я сунул ее в рот.

– «С апельсиновым вкусом после тяжелой ночи»! Молодец, не забыл!

Я лег на спину и стал ждать, когда таблетка подействует.

Я видел выражение его лица, но ведь мускулы сводила произвольная судорога. Я слышал его голос – но на искусственном выдохе. Мне не узнать, что он чувствовал на самом деле.

Не «Обезьянья лапка» и не «Сердце-обличитель».

Скорее уж «Заживо погребенные»³.

Однако я не вправе жалеть Дэниела Каволини. Я собираюсь продать его смерть за деньги.

Я не имею права переживать, ставить себя на его место.

Как сказал Луковский, со мной бы такого не случилось.

³ Рассказ Э. По.

3

Я как-то видел «Мовиолу» пятидесятих годов двадцатого века – в музее, за стеклом. Под витриной был установлен монитор, и на нем демонстрировался работающий аппарат. Тридцатипятимиллиметровая целлулоидная пленка мучительно ползла перед крохотным экранчиком, перематываясь с катушки на катушку. Катушки были насажены на вертикальные стержни и приводились в движение ремнем. Мотор гудел, шестеренки жужжали, обтюратор вращался, словно лопасти вертолета. Не монтажное устройство, а машинка для уничтожения бумаги.

Трогательное изобретение. *Мне очень жаль... но эпизод погиб. «Мовиола» его зажевала.* Разумеется, работали обычно с копией отснятой пленки (к тому же негативной, смотреть ее все равно было нельзя), но мысль, что малейшая неполадка превращает метры бесценного целлулоида в конфетти, крепко запала мне в голову – незаконная, несбыточная мечта.

Мой монтажный компьютер – купленный три года назад Эффайн Графике 2052 – ничего испортить не может. Каждый загруженный в него кадр превращается в две защищенные от записи копии, а также кодируется и автоматически пересылается в архивы Манделы, Стокгольма и Торонто. Каждый мой дальнейший шаг меняет лишь ссылки на неприкосновенный оригинал. Я могу произвольным образом вырезать куски из сырого метража (именно метража, и именно пленки – только дилетанты пользуются претенциозными неологизмами вроде «байтажа»), перефразировать, импровизировать, заменять. И ни один кадрик не испортится безнадежно, не попадет на чужое место.

Впрочем, на самом деле я не завидую своим коллегам из эры аналоговых машин; я бы рехнулся, заставь меня работать на их неповоротливых агрегатах. В компьютерном монтаже самое медленное звено – человек, и я научился находить правильное решение с десятого – двенадцатого раза. Программа может ускорить сцену, исправить резкость, улучшить звук, убрать случайного прохожего, если надо – перенести все действие в другой интерьер. Технические задачи решаются сами собой, ничто не отвлекает от сути.

Итак, чтобы закончить «Мусорную ДНК», мне предстояло всего лишь превратить сто восемьдесят часов реального времени в пятьдесят минут осмысленного.

Я отснял четыре сюжета и уже знал, в каком порядке их монтировать: от серого к беспросветно черному. Нед Ландерс – ходячая биосфера. Страховые импланты «Охраны здоровья». «Добровольные аутисты» давят на общественное мнение. Оживление Дэниела Каволини. ЗРИнет требует крайностей, перехлестов, франкенштухи. Хочет – получит.

Ландерс сделал состояние на компьютерном железе, не на биотехнологии, но, чтобы преобразовать себя, купил несколько научно-исследовательских корпораций, работающих на переднем крае молекулярной генетики. Он просил снять его в герметически запечатанном геодезическом куполе, в атмосфере сернистого газа, окислов азота и бензиловых соединений: чтобы я был в скафандре, а он – в плавках. Мы попробовали, однако окошко моего шлема все время запотевало снаружи, покрываясь маслянистой канцерогенной пленкой, и встречу пришлось перенести на окраину Портленда. Неожиданно вышло еще лучше: не ядовитый купол, а голубое небо над штатом, который быстро догоняет Калифорнию по окончательному запрету на выброс промышленных отходов. Полный сюр.

– Я могу совсем не дышать, когда не хочу, – вещал Ландерс, вдыхая явно свежайший, чистейший воздух. Я уговорил его дать интервью на зеленой лужайке перед скромным административным зданием «НЛ-групп». (На заднем плане дети гоняли мяч, но их я убрал одним нажатием клавиши.) Ландерсу под пятьдесят, но с виду можно дать двадцать четыре. Плечистый, белокурый, голубоглазый, с румянцем во всю щеку – преуспевающий канзасский

фермер в голливудском исполнении, а не богатый чудак, напичканный искусственной микрофлорой и чужеродными генами. Я рассматривал его на мониторе и слушал через обычные колонки. Можно было бы проигрывать прямо через свои зрительные и слуховые нервы, но у большинства зрителей или экран, или шлем, и надо убедиться, что программа превращает стенографическую запись моей сетчатки в устойчивую смотрибельную картинку.

– Живущие в моей крови симбионты могут бесконечно преобразовывать углекислый газ обратно в кислород. Они получают энергию с моей кожи, от солнечного света, и выделяют глюкозу, однако недостаточно, к тому же в темноте им нужен альтернативный источник энергии. Тут на помощь приходят желудочные и кишечные симбионты тридцати семи различных типов, на все случаи жизни. Я могу есть траву Я могу есть бумагу. Могу питаться старыми шинами, главное, нарезать их так мелко, чтобы куски пролезали в горло. Если завтра вся растительная и животная жизнь исчезнет с лица Земли, мне одних шин хватит на тысячу лет. У меня есть карта континентальной части США, на ней нанесены все свалки шин. Большая часть предназначена под биологическую рекультивацию, но я уже подал несколько исков, чтобы спасти хоть часть. Помимо моих личных мотивов, я считаю, что это – наше наследие, которое мы обязаны сохранить для потомков.

Я вернулся и вставил отснятую под микроскопом пленку: водоросли и бактерии в его крови, в пищеварительном тракте, затем – карта из его ноутбука, кружочками показаны свалки автомобильных покрышек. Поиграл с заранее сделанной анимацией: схемы его личных углеродного, кислородного и энергетического циклов, но так и не решил, куда же их сунуть.

Мой вопрос: «Вы не боитесь голода и массового вымирания – но как насчет вирусов? Как насчет биологической войны или просто болезни?» Эти слова я вырезал, пусть меня будет как можно меньше. Теперь вышло, будто Ландерс ни с того ни с сего перескочил на другую тему, так что я синтезировал и вставил «не только использую симбионты, но и...» перед его собственным текстом: «постепенно заменяю те клеточные линии, которые наиболее подвержены вирусным инфекциям. Вирусы состоят из ДНК или РНК, у них тот же химизм, что и у других организмов на нашей планете. Вот почему они способны захватывать человеческие клетки. Однако можно создать ДНК и РНК с совершенно новым химизмом – заменить стандартные основания на нестандартные. Новый алфавит для генетического кода: вместо гуанина и цитозина, аденина и тимина, вместо G и C, A и T, у вас будет X и Y, W и Z».

Я заменил все после слова «тимин» на «использовать четыре альтернативные молекулы, которых в природе нет», – смысл тот же, но гораздо понятнее. Потом прокрутил еще раз – нет, не то! – и вернулся к исходному варианту.

Всякий журналист перефразирует собеседника, я не был бы профессионалом, если бы наотрез отказался что-либо менять. Вся хитрость в том, чтобы перефразировать честно, а это почти так же трудно, как честно монтировать.

Я вставил готовый рисунок из тех, что поставляются вместе с программными пакетами: обычная ДНК, между двумя спиралями – мостики парных оснований, каждый атом изображен шариком. Я раскрасил и подписал по одной молекуле каждого основания. Ландерс отказался говорить, что за нестандартные основания он использует, но мне не составило труда нарыть подходящие в литературе. Я заменил четыре старых основания в двойной спирали на возможные новые, потом снова пустил гипотетическую ландерсовскую ДНК вращаться, постепенно увеличиваясь, на экране и вернулся к его говорящей голове.

– Разумеется, мало только поменять основания. Чтобы синтезировать новые основания, клеткам понадобятся совершенно новые ферменты, большую часть протеинов, взаимодействующих с ДНК и РНК, нужно приспособить к изменениям – не переписать в новом алфавите, а перевести отвечающие за их производство гены...

Я сочинил иллюстрацию, украв протеин клеточного ядра из недавно прочитанной статьи, но немножко переиначив молекулы, чтобы не попасть под обвинение в плагиате.

— ...Мы не успели еще перевести все человеческие гены, но уже получили некоторые специфические клеточные линии, которые отлично обходятся мини-хромосомами, содержащими лишь самые необходимые гены. Шестьдесят процентов стволовых клеток в моем костном мозге и мозжечке заменены новыми, с нео-ДНК. Стволовые клетки порождают кровяные, в том числе и клетки иммунной системы. Чтобы преобразование прошло более гладко, мне пришлось временно вернуть свою иммунную систему на утробную стадию и вновь пройти детские фазы делеции клонов, чтобы не вызвать аутоиммунную реакцию, но теперь я могу впрыскивать себе чистый ВИЧ и только посмеиваться.

— От него есть прекрасная вакцина...

— Разумеется.

Я вырезал свои слова, вложил в уста Ландерса: «Разумеется, от него есть вакцина», а дальше пошло его собственное:

— К тому же у меня есть симбионты, вырабатывающие вторую, независимую иммунную систему. Кто знает, что нас еще ждет? Но я готов ко всему. Нет, я не предугадываю частности, да это и невозможно, я просто слежу, чтобы во мне не осталось уязвимых клеток, говорящих на том же биохимическом языке, что и земные вирусы.

— А дальше? Чтобы обеспечить собственную неуязвимость, вам потребовалась огромная, очень дорогая инфраструктура. Что, если технология не протянет столько, чтобы хватило вашим детям и внукам?

Все это было лишнее, и я вымарал свою реплику.

— Дальше я, разумеется, намерен изменить стволовые клетки, производящие сперму. Моя жена Кэрол уже начала программу сбора яйцеклеток. Как только мы переведем весь человеческий геном, заменим все двадцать три хромосомы в сперме и яйце, все, что мы сделали, станет наследуемым. У всех наших детей будут нео-ДНК, а симбионты перейдут к ребенку в материнской утробе. Мы переведем и геномы симбионтов — на третий генетический алфавит, — чтобы защитить их от вирусов, исключить всякий риск случайного генного обмена. Они станут нашими посевами и нашими стадами, нашим неотчуждаемым имуществом, вечно живущим в нашей крови. Наши дети станут новым биологическим видом. Да что там видом — новым царством.

В парке зашумели: кто-то забил гол. Я оставил, не стал стирать.

Ландерс внезапно расцвел улыбкой, словно впервые представил себе будущий земной рай.

— Вот что я создаю. Новое царство.

Я просиживал за экраном по восемнадцать часов в сутки, принуждая себя жить так, словно мир съезжился даже не до моего кабинета, а до времени и места, вошедших в метраж. Джина не вмешивалась; мы уже жили вместе, когда я монтировал «Половой перебор», так что ей было не впервой.

Она сказала примирительно: «Я буду воображать, будто ты уехал, а бревно в моей постели — просто большая грелка».

Фармаблок спрограммировал пластырь, который наклеивается на плечо и строго в нужное время выбрасывает тщательно рассчитанную дозу мелатонина или мелатонинового блокатора, чтобы усилить или ослабить биохимические сигналы шишковидной железы, превращая обычную синусоиду дневной активности в плато, за которым следует глубокий провал. Каждое утро я просыпался после пяти часов обогащенного быстрого сна, бодрый, словно годовалый ребенок, в голове еще крутились обрывки ночных видений (по большей части — причудливая смесь из просмотренного днем материала). Мелатонин — природный

циркадный гормон, гораздо безвреднее кофеина или амфетаминов, да и помогает лучше. (Я пробовал кофеин: чувствуешь, будто можешь свернуть горы, а смотришь, что получилось, – выходит дрянь. Широкое применение кофеина многое объясняет в двадцатом столетии.) Я знал, чем аукнется потом мелатониновый курс: ночной бессонницей и дневной сонливостью из-за того, что мозг будет по инерции бороться с навязанным ритмом. Однако побочные эффекты других средств еще хуже.

Кэрол Ландерс отказалась дать интервью, а жаль – любопытно было бы поболтать со следующей Митохондриальной Евой. Ландерс не захотел отвечать, использует ли она симбионты или пока выжидает: будет он так же цвести или загнется от токсического шока, когда у каких-нибудь мутантных бактерий случится неконтролируемый всплеск размножения.

Мне разрешили поговорить с несколькими ведущими сотрудниками Ландерса, в том числе с двумя генетиками, которые проделали большую часть исследований. Они начинали мяться, стоило разговору уйти в сторону от чисто технических вопросов, но на одном стояли крепко: если человек добровольно прибегает к лечению, которое помогает ему сохранить здоровье и не опасно для общества, то к нему не придерешься. Тут спорить было трудно, особенно что касается биологического риска: при работе с нео-ДНК не возникает опасность случайной рекомбинации. Природные бактерии не подцепят мутантных генов, даже если вся «НЛ-групп» начнет выплескивать пробирки в ближайшую речку.

Однако, чтобы воплотить мечту Ландерса о сверхживучей семье, мало ученых. Современное законодательство США (да и большинства других стран) запрещает менять человеческую наследственность, за исключением нескольких десятков оговоренных случаев, «разрешенных починок», направленных против таких болезней, как мышечная дистрофия или кистоз мочевого пузыря. Разумеется, законы можно отменить, хотя ведущий биотехнологический адвокат самого Ландерса настаивал, что изменение четырех оснований и даже перевод нескольких генов в соответствии с этими изменениями не противоречат антиевгеническому духу существующего законодательства. Оно не изменит внешнего вида детей (роста, телосложения, пигментации). Не повлияет на их IQ или на характер. Когда я сказал, что они не смогут иметь потомства (кроме как друг от друга), он занял интересную позицию: мол, не вина Неда Ландерса, если дети других людей не смогут иметь потомства от его детей. В конце концов, не бывает бесплодных людей – только бесплодные пары.

Его коллега из Колумбийского университета заявил, что все это – чушь собачья: заменять целые хромосомы, как бы это ни сказалось на фенотипе, совершенно противозаконно. Другой эксперт, из Вашингтонского университета, не был так уверен. Будь у меня время, я бы, наверное, собрал сотни фразочек крупнейших юристов, со всеми возможными оттенками мнений.

Я поговорил со многими критиками Ландерса, в том числе с Джейн Саммерс, внештатным биотехнологическим консультантом из Сан-Франциско, заметной деятельницей движения «Молекулярные биологи за социальную ответственность». Шесть месяцев назад она опубликовала в открытом сетевом журнале МБСО, который мой компьютер исправно мониторит, статью, где утверждала, что, по ее данным, несколько тысяч богатых людей в США и других странах переводят свои ДНК, один клеточный тип за другим. У нее выходило, что Нед Ландерс – просто единственный, кто объявил об этом вслух, чтобы представить себя таким одиноким чудачком, чуть ли не Дон Кихотом. Если бы об исследованиях стало известно вне связи с конкретным человеком, публика бы обезумела: поди угадай, сколько их, безымянных богачей, намерено расплеваться с биосферой. А так все открыто, и все сводится к безобидному Неду Ландерсу, значит, бояться нечего.

Это звучало правдоподобно, однако Саммерс меня разочаровала. Она нехотя дала координаты своего «источника», который якобы переводил гены совершенно другого заказчика; однако «источник» отрицал все. Когда я попросил еще наводок, Саммерс начала юлить. То

ли у нее нет ничего существенного, то ли она уже сговорилась с другим журналистом. Я бесился, но поделать ничего не мог – не было ни денег, ни времени на самостоятельное расследование. Если и существует тайный заговор генетических сепаратистов, мне придется, как прочим смертным, читать эксклюзивный материал в «Вашингтон пост».

Я закончил сборной солянкой из других комментаторов – биоэтиков, генетиков, социологов, – которые отметали все тревоги. «Мистер Ландерс имеет право жить как ему угодно и растить детей, как считает нужным. Мы не преследуем амишей за близкородственные браки, странные технологии, стремление к независимости. Зачем же преследовать его за такие же, в сущности, „преступления“?»

Готовый вариант занимал восемнадцать минут. В передаче будет время только для двенадцати. Я безжалостно укорачивал, слеплял, упрощал, стараясь работать профессионально, но не переживая, что какие-то подробности выпадут. Цель передачи ЗРИнет – привлечь общественное внимание, вызвать отклик в более традиционных средствах массовой информации. «Мусорная ДНК» будет транслироваться в одиннадцать вечера в среду; большинство пользователей посмотрят более полную интерактивную версию в удобное для них время. У нее и костяк немного длиннее, и есть возможность обратиться к другим источникам: ко всем научным статьям, которые я читал при подготовке фильма (и ко всем статьям, на которые они, в свою очередь, ссылаются), к упоминаниям о Ландерсе в других средствах массовой информации (включая статью-предупреждение Джейн Саммерс), к действующим американскому и международному законодательствам по данному вопросу, а оттуда при желании можно проникнуть в дебри судебных прецедентов.

Вечером пятого дня – в точности по графику, повод себя поздравить – я повычистил последних вошек и в последний раз прокрутил весь фрагмент. Я старался отрешиться от съемок, от собственных предубеждений, смотреть глазами рядового пользователя ЗРИнет, который ничего об этом прежде не знал, только видел рекламу самого фильма.

Ландерс вышел на удивление трогательным – я-то думал, что был с ним куда суровее. Мне казалось, я дал ему полную возможность вывернуть на людях все свои бредовые амбиции. А он получился скорее добродушным, чем надутым и чванным, даже шуточки отпускает. Питаться автомобильными покрывками? Впрыскивать себе ВИЧ? Я смотрел, не веря своим глазам. Что это – сознательная ирония, которой я прежде не замечал, или нормальный человек просто не в состоянии принять всерьез то, что Ландерс несет?

Что, если Саммерс права? Что, если это всего лишь прикрытие, отвлекающий маневр, клоун-виртуоз? Что, если тысячи богатейших людей планеты вознамерились обеспечить себе и своим потомкам полную генетическую изоляцию, полный вирусный иммунитет?

А если это правда, то стоит ли сильно переживать? Богатые всегда так или иначе ограждали себя от черни. Уровень загрязнения среды будет снижаться, независимо от того, исчезнет потребность в чистом воздухе благодаря водорослям-симбионтам или нет. А всякий, кто последует за Ландерсом, – невеликая потеря для человеческого генофонда.

Оставался один маленький вопрос, и я старался особо им не задаваться.

Абсолютный вирусный иммунитет... против чего?

4

«Дельфийские биосистемы» проявили чудеса щедрости. Они не только выделили мне своих представителей по связям с общественностью (в десять раз больше, чем я мог бы при всем желании опросить), но и завалили меня дисками с соблазнительнейшей микрографией и обалденной анимацией. Блоксхемы программ для имплантов «Охраны здоровья» подавались в виде нарисованных аэрографом фантастических хромированных машин: смоляно-черные конвейеры везут серебристые катышки «данных» от подпроцесса к подпроцессу. Молекулярные схемы взаимодействия белков перемежались дивными – и совершенно даровыми – картами электронной плотности; голубые и розовые призрачные облачка сливались и таяли, превращая скромные химические свадьбы в микро-космические грезы. Я мог бы положить их на Вагнера (или Блейка) и впарить сторонникам «Мистического возрождения» – пусть смотрят всякий раз, как захотят войти в транс.

Тем не менее я перевероршил всю кучу и, как оказалось, не зря. Между всей этой технопорнухой и психоделическим наукообразием обнаружилось кое-что действительно ценное.

Импланты «Охраны здоровья» используют последние программируемые схемы-анализаторы: набор белков на кремниевом основании, примерно как в домашнем фармаблоке, только они не синтезируют молекулы, а считают. Предыдущие поколения схем включали множество высокоспециализированных антител, Y-образных протеинов, расположенных на полупроводнике шахматными квадратами, – этакое лоскутное многополье. Когда молекула холестерина, или инсулина, или какого-то другого вещества попадает на нужный участок и натывается на свое антитело, емкостное сопротивление чуть заметно меняется и фиксируется микропроцессором. На достаточном временном отрезке из случайных столкновений вырисовывается общая картина, содержание каждого вещества в крови.

Новые сенсоры используют белки, похожие больше на мыслящую венерину мухоловку, чем на пассивную матрицу антител. «Убийца» в состоянии активности – длинная воронкообразная молекула, расширяющаяся вниз трубка. Эта форма метастабильна, распределение зарядов в молекуле делает ее в высшей степени чуткой. Как только достаточно большое тело касается воронки с внутренней стороны, молекула немедленно сворачивается, обволакивая пришельца. Микропроцессор замечает, что ловушка захлопнулась, и определяет тип пленной молекулы по форме плотно облегающей ее воронки. Это уже не случайная толчея, когда молекула инсулина без толку тычется в холестеринные антитела. «Убийца» всегда знает, что в него попало.

Это техническое достижение стоило донести до публики, разъяснить, демистифицировать. Каковы бы ни были социальные последствия внедрения имплантов, это не должно происходить в вакууме, в отрыве от технологий, сделавших такое устройство возможным, и наоборот. Как только люди перестают понимать, как работают окружающие их машины, мир оборачивается непонятным сном. Технология развивается бесконтрольно, ее невозможно даже обсуждать, она порождает лишь благоговение или ненависть, зависимость или отчуждение. Артур Кларк предположил, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Он имел в виду возможную встречу с инопланетной цивилизацией, но долг журналиста, рассказывающего о науке, следить, чтобы люди не стали смотреть на людскую технологию по закону Кларка.

(Громкие слова... А чем я занимаюсь? Клепаю франкенштуху, потому что эта экологическая ниша еще не заполнена. Я успокоил свою совесть – или немного приглушил – избыточными соображениями о троянских конях и о том, что систему можно изменить изнутри.)

Я взял картинку «Дельфийских биосистем» с работающей мухоловкой и программно убрал излишние красоты, чтобы виднее стала суть. Выбросил их восторженный коммен-

тарий и написал свой. Компьютер прочитал его дикторским голосом, который я выбрал для всей «Мусорной ДНК» – смоделированным по записям английской актрисы Джульет Стивенсон. Давно исчезнувшее «стандартное английское» произношение, в отличие от существующих в Британии теперь, остается понятным всему англофонному миру. Если пользователь захочет услышать другой голос, он просто переключит язык; я для тренировки часто слушаю программы, дублированные на особо трудных для меня местных диалектах: юго-востока США, Северной Ирландии, Восточно-Центральной Африки.

Гермес – мой коммуникационный пакет – запрограммирован так, что, когда я монтирую, не пропускает почти ничьих звонков. Лидия Хигучи, исполнительный продюсер ЗРИ-нет по Западно-Тихоокеанскому региону – одна из немногих, для кого сделано исключение. Зазвонил ноутпад, но я переключил звонок на компьютер: экран здесь больше, изображение четче. Внизу появляется строка «AFFINE GRAPHICS EDITOR MODEL 2052-KL» и время. Не очень изящно, но такая цель и не ставится.

Лидия сразу перешла к делу:

– Я видела окончательную версию Ландерса. Добротню. Но я хотела поговорить о том, что будет дальше.

– Об имплантах «Охраны здоровья»? Что-нибудь не так?

Я не скрывал раздражения. Она видела куски сырого метража, видела мои замечания. Если хочет, чтобы я что-то всерьез изменил, то пусть бы чесалась раньше.

Она рассмеялась.

– Эндрю, осадил немного. Не о следующем сюжете «Мусорной ДНК». О следующей работе.

Я вытаращился, как будто она предложила мне немедленно лететь на другую планету. Потом сказал:

– Не надо, Лидия. Пожалуйста, не надо. Ты же знаешь, сейчас я не могу ни о чем думать.

Она сочувственно кивнула, однако не отступила:

– Ты ведь следишь за новой болезнью? Это уже не единичные сомнительные случаи: официальные сообщения поступают из Женевы, Атланты, Найроби.

У меня заныло под ложечкой.

– Ты про «острый синдром клинической тревожности»?

– Он же Отчаяние, – произнесла она с явным удовольствием, как будто уже занесла это название в свой словарь крайне телегеничных сюжетов.

Я сказал:

– Мои сборщики информации записывают все упоминания, но у меня еще не было времени посмотреть. И, если честно, сейчас...

– На сегодняшний день диагностировано более четырехсот случаев, Эндрю. За шесть последних месяцев – тридцать процентов роста.

– Как можно диагностировать болезнь, если не знаешь возбудителя?

– Путем исключения.

– По-моему, все это собачья чушь.

Она скроила саркастическую гримаску.

– Будь серьезным. Это совершенно новая душевная болезнь. Возможно, заразная. Возможно, вызванная сбежавшим у вояк патогенным вирусом...

– Возможно, занесенная кометой. Возможно, ниспосланная нам в наказание. Удивительно, сколько всего возможно.

Лидия пожала плечами.

– Откуда бы ни взялась, она распространяется. Случаи отмечены везде, кроме Антарктиды. Новость на первую полосу. Более того, вчера правление решило: мы объявим трид-

цатиминутный репортаж об Отчаянии. Сейчас запускаем рекламу, потом даем передачу в прайм-тайм по всему миру одновременно.

«Одновременно» на жаргоне значит не то, что у остальных людей – это значит, в одно и то же число, в один и тот же час по местному времени пользователей.

– По всему миру? Ты хочешь сказать, англофонному миру?

– Я хочу сказать, по всемирному миру. Мы хотим продать передачу всем иноязычным сетям.

– Мм... хорошо.

Лидия улыбнулась – натянутой, нетерпеливой улыбкой.

– Чего молчишь, Эндрю? Мне по буквам произнести? Мы хотим, чтобы ты снимал эту передачу. Ты – наш специалист по биотехнологии, тебе и карты в руки. И ты сделаешь конфетку. Итак?

Я положил руку на лоб, пытаюсь понять, с чего на меня навалилась клаустрофобия, потом уточнил:

– Как быстро я должен дать ответ?

Она улыбнулась чуть шире: это значило, что она удивлена, раздосадована или то и другое вместе.

– Эфир двадцать четвертого мая – это десять недель, начиная с понедельника. Тебе надо будет приступить в ту минуту, как закончишь «Мусорную ДНК». Твой ответ нам нужен как можно скорее.

Правило номер четыре: ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Джинной, даже если она не признается, что иное ее обижает.

– Завтра утром.

Лидии это не понравилось, однако она сказала:

– Отлично.

Я собрался с духом:

– Если я откажусь, будет что-нибудь еще подходящее?

Лидия удивилась всерьез:

– Что на тебя нашло? По всему миру в прайм-тайм! Ты заработаешь в пять раз больше, чем на «Переборе».

– Понимаю и, честное слово, глубоко признателен. Я просто хотел знать, есть ли выбор.

– Ты всегда можешь отправиться с металлоискателем выкапывать на пляже монетки, – Она увидела мое лицо и смягчилась. Чуть-чуть, – Скоро мы запускаем еще проект. Впрочем, я почти обещала его Саре Найт.

– Расскажи.

– Ты слышал о Вайолет Мосале?

– Конечно. Она... э... физик? Физик из Южной Африки?

– Два из двух, очень впечатляюще. Сара от нее без ума и час вещала без умолку.

– Что за проект?

– Показать Мосалу со всех сторон. Ей двадцать семь, два года назад она получила Нобелевскую премию... но это ты, конечно, знаешь и без меня. Интервью, биография, высказывания коллег, тары-бары. Работы у нее чисто теоретические, показывать нечего, кроме компьютерных симуляций, и она обещала свою графику. Главное же в программе будет – конференция, посвященная столетию Эйнштейна.

– Разве оно было не в семидесятых прошлого века?

Лидия нагрядила меня убийственным взглядом.

Я спохватился:

– Ах да, столетию со дня смерти. Очень мило.

– Мосала будет на конференции. В последний день три ведущих мировых физика-теоретика представят конкурирующие версии теории всего. Нетрудно угадать, кто из них фаворит.

Я стиснул зубы, чтобы не сказать: «Это не скачки, Лидия. Может пройти еще пятьдесят лет, прежде чем мы узнаем, чья ТВ правильная».

– И когда конференция?

– С пятого по восемнадцатое апреля.

Я сморгнул.

– Три недели, считая с понедельника.

Лидия задумалась и явно повеселела.

– Вот видишь, у тебя и времени не хватит. Сара готовится уже больше месяца...

Я напомнил раздраженно:

– Пять минут назад ты предлагала мне приступить к «Отчаянию» меньше чем через три недели.

– Здесь ты мог бы включиться с ходу. А много ли ты знаешь о современной физике?

Я притворился обиженным.

– Достаточно. И соображаю немножко. Поднаберусь.

– Когда?

– Найду когда. Буду работать быстрее. Закончу «Мусорную ДНК» с опережением графика. Когда пойдет передача про Мосалу?

– В начале следующего года.

Это значит – почти восемь месяцев относительно нормальной жизни, после того как закончится конференция.

Лидия недовольно взглянула на часы.

– Я тебя не понимаю. То, что ты делал в последние пять лет, логически должно завершиться научно-популярным репортажем об Отчаянии. А там подумаешь, может, и впрямь переключишься с биотехнологии на что-нибудь другое. И кого я поставлю вместо тебя?

– Сару Найт?

– Нечего ехидничать.

– Я ей передам твои слова.

– На здоровье. Мне плевать, что она там делала в политике, научная программа у нее всего одна, и то по неортодоксальным космологиям. Хорошая программа – но не настолько, чтобы отдавать ей такой кусок. Она заслужила две недели с Вайолет Мосалой, но не репортаж в прайм-тайм о сенсационном вирусе.

Вирус, который вызывает Отчаяние, пока никто не нашел; я неделю не просматривал сводок, но такого масштаба новость мой сборщик информации уже бы сообщил. Ох, чует мое сердце, если программу буду делать не я, она выйдет с подзаголовком: «Военные выпустили в мир патогенный вирус, который стал мозговым СПИДом двадцать первого века».

А все тщеславие. Что я, единственный на Земле способен развеять поднятую вокруг Отчаяния шумиху?

Я сказал:

– Я еще ничего не решил. Мне надо обсудить с Джиной.

Лидия не поверила.

– Ну-ну. «Обсуди с Джиной» и перезвони утром, – Она снова взглянула на часы, – Ладно, мне правда пора. Должен же кто-то из нас работать.

Я открыл было рот, чтобы гневно протестовать; она мило улыбнулась и ткнула в меня двумя пальцами.

– Ага, попался. Никто из вас, авторов, не понимает иронии. Пока.

Я отвернулся от монитора и уставился на свои сжатые кулаки. Мне хотелось отрешиться от всех эмоций – хотя бы для того, чтобы спокойно вернуться к «Мусорной ДНК».

Я видел сюжет об Отчаянии несколько месяцев назад. Это было в Манчестере, в гостинице, я кого-то ждал и от нечего делать переключал программы. Молодая женщина – с виду здоровая, только растрепанная, – лежала на полу жилого дома в Майами. Она размахивала руками и била ногами, извивалась всем телом и мотала головой. Впрочем, это не походило на психическое расстройство, слишком координированы были ее движения.

И покуда полиция и врачи ее не скрутили – по крайней мере настолько, чтобы вколоть шприц, – и не накачали каким-то быстродействующим парализующим веществом (они пробоваали аэрозоль, но ничего не вышло), она билась и кричала, как раненый зверь, как ребенок в истерике, как взрослый, которого постигло страшное горе.

Я смотрел и слушал, не веря своим глазам, а когда лекарство, наконец, подействовало и ее унесли, долго убеждал себя, что тут нет ничего особенного: может, эпилептический припадок, может, какая-то нервная болезнь, на худой конец – невыносимая боль, которую быстро диагностируют и вылечат.

Ничего подобного. Оказалось, большинство жертв Отчаяния – люди, здоровые телесно и душевно. Никто не знает, как устранить причину их страданий, все «лечение» сводится к тому, что их глушат сильными седативными средствами.

Я взял ноутпад и щелкнул по значку **Сизифа**, моего сборщика информации.

– Подбери самое главное о Вайолет Мосале, о конференции, посвященной столетию смерти Эйнштейна, и о развитии общей теории поля за последние десять лет. Мне надо переварить все за... примерно за сто двадцать часов. Это возможно?

Последовала пауза: **Сизиф** грузил и просматривал последние данные. Потом спросил:

– Ты знаешь, что такое BTM?

– Вычислительная творческая машина?

– Нет. В данном контексте – все-топологическая модель.

Сочетание прозвучало смутно знакомым; лет пять назад я что-то по этому поводу читал.

Последовала новая пауза, пока грузился и оценивался более простой общеобразовательный материал. Потом:

– Ста двадцати часов хватит, чтобы слушать и кивать. Чтобы задавать осмысленные вопросы – нет.

Я застонал.

– А если с вопросами...

– Сто пятьдесят.

– Готовь.

Я щелкнул по значку домашнего фармаблока:

– Перепрограммируй мелатониновый курс. С сегодняшнего дня добавь мне по два часа высокой активности.

– До какого числа?

Конференция начнется пятого апреля; если к этому времени я не стану экспертом по Вайолет Мосале, наверстывать будет поздно. Однако сойти с навязанного мелатонином ритма перед самой конференцией и засыпать потом на ходу тоже не дело.

– До восемнадцатого апреля.

Фармаблок сказал:

– Ты пожалеешь.

Он вовсе не каркал, просто предупреждал на основании пяти лет близкого биохимического знакомства. Однако выбирать не приходилось, и, хотя неделя острой циркадной аритмии после конференции – удовольствие много ниже среднего, никто еще от такого не умер.

Я подсчитал в уме. Оказывается, я только что выкроил себе пять или шесть часов свободного времени.

Была пятница. Я позвонил Джине на работу. *Правило шестое: будь непредсказуем.* Но не слишком часто.

Я сказал:

– К черту «Мусорную ДНК». Хочешь потанцевать?

5

Поехать в город предложила Джина. Меня в Развалины не тянет, ночные заведения есть и ближе к дому, и лучше, но (*правило седьмое*) не стоит спорить о пустяках. Когда поезд остановился у станции Таун-холл и эскалатор повез нас мимо платформы, на которой зарезали Дэниела Каволини, я отключил воспоминания и улыбнулся.

Джина обвила меня руками.

– Здесь есть что-то, чего я не чувствую в других местах. Бурление жизни. А ты?

Я взглянул на выложенные черной и белой плиткой стены, больничного вида, без единой надписи.

– Не больше, чем в Помпеях.

Демографический центр Большого Сиднея вот уже полвека находится к западу от Параматты и сейчас, наверное, достиг Блэктауна, однако исторический городской центр окончательно обезлюдел только в тридцатых, когда почти одновременно отпала надобность в учреждениях, театрах, художественных галереях, музеях и кинозалах. Уже в первое десятилетие века к большинству жилых домов подвели оптоволоконные кабели, но потребовалось почти двадцать лет, чтобы сети приобрели современные очертания. Шаткое здание несоответствующих стандартов, маломощного железа, устаревших операционных систем, оставшееся от компьютерных и коммуникационных динозавров конца прошлого века, рухнуло в двадцатых, и только затем – после многих лет преждевременной эйфории, после вполне заслуженной критики и насмешек – применение сетей для развлечения и телекоммуникации перестало быть психологической пыткой и прочно вошло в жизнь, сильно потеснив необходимость куда-либо ездить и ходить.

Мы вышли на Джордж-стрит. Улица была далеко не пустынна, но я видел документальные съемки прошлого века, когда население страны было в два раза меньше, а толпы – не чета нынешним жалким ручейкам. Джина подняла глаза, и в ее зрачках отразился свет: многие офисные небоскребы по-прежнему сверкали огнями, их окна специально для туристов закрыли дешевыми люминесцентными шторами, сохраняющими солнечный свет. Прозвище «Развалины», конечно, шутка: мародеры, а тем более время, практически не оставили здесь следа; тем не менее мы приходим сюда туристами, поглазеть на памятники, оставленные даже не предками, а нашими старшими братьями и сестрами.

Некоторые здания приспособили под жилье – архитектура и экономика никогда не договорятся – к жгучему негодованию борцов за сохранение городской среды. Разумеется, есть и сквоттеры – вероятно, тысячи две, рассеянные в той части города, которую по привычке называют деловым центром, – но они только усиливают ощущение конца света. На окраинах уцелели живые театры и музыка – камерные пьесы на камерных сценах или многолюдные концерты популярных групп на стадионах, однако большинство театров показывают свои представления в реальном времени по сетям. (Фундамент Оперного театра рушится, и нам недавно посулили, что в 2065-м вся громада съедет в Сиднейскую бухту, – мысль эта греет мне сердце, хотя какие-нибудь зануды с сахарином вместо крови наверняка соберут денег и в последний момент спасут никому не нужный символ.) Магазины, торгующие с прилавка, еще не совсем уступили место заказам через сеть, но давно переместились в жилые районы. По окраинам еще функционируют отели, однако в мертвом сердце города не осталось ничего, кроме ресторанов и ночных клубов, разбросанных между пустыми небоскребами, словно сувенирные киоски в Долине Царей.

Мы двинулись на юг, в бывший Чайна-таун, о котором напоминает если не экзотическая кухня, то хотя бы сыплющиеся декоративные фасады бывших китайских ресторанчиков.

Навстречу шла компания, и Джина легонько толкнула меня в бок. Когда они миновали, она спросила:

– Это были...

– Кто? Асексуалы? Думаю, да.

– Никогда не могу определить. Иногда обычные парни и девушки выглядят в точности так же.

– В том-то и смысл, чтобы ты не могла определить. Но почему мы считаем, будто можем с одного взгляда узнать о человеке хоть что-нибудь важное?

Термин «асексуальность» охватывает большую группу понятий, начиная с образа мыслей, стиля одежды, косметических операций и до глубоких биологических изменений. Единственное, что объединяет асексуалов, это убеждение, что их гендерные параметры (умственные, эндокринные, хромосомные и генитальные) никого не касаются, кроме них самих, как правило (но необязательно), их сексуальных партнеров, вероятно, врача, и, иногда, нескольких ближайших друзей. А дальше человек сам решает, как поступать в соответствии с данными взглядами: просто отмечать квадратик «А» при получении документов, выбрать нейтрально звучащее имя, удалить молочные железы или волосы с тела, изменить тембр голоса и черты лица, сделать хирургическую операцию, позволяющую затем втягивать мужские органы в специальный «карман», стать гермафродитом или полностью отказаться от пола.

Я сказал:

– Зачем паяться на людей и теряться в догадках? Эн-мужчина, эн-женщина, асексуал... – какое нам дело?

Джина скривилась.

– Не выставляй меня ханжой. Мне просто любопытно.

Я сжал ее локоть.

– Извини, я совсем другое хотел сказать.

Она вырвала руку.

– Тебе потребовался целый год, чтобы в этом разобраться. Ты ни о чем другом не думал, лез к людям в душу и в постель, сколько тебе хотелось. Еще и деньги за это получил. Я видела уже готовый фильм. Если твое имя стоит в титрах, это не значит, что я обязательно пришла к окончательному мнению касательно половой миграции.

Я наклонился и поцеловал ее в лоб.

– За что это?

– За то, что ко всем своим многочисленным достоинствам ты еще и идеальная зрительница.

– Сейчас сблую.

Мы повернули на восток, к Сарри-хиллз, на еще более тихую улочку. Навстречу прошел одинокий молодой человек – мрачный, с накачанной мускулатурой и, похоже, хирургически измененным лицом. Джина подняла на меня все еще сердитые глаза, но промолчать не смогла:

– Вот это – если он действительно у-мужчина – я понимаю еще меньше. Хочешь такую фигуру – замечательно. Но зачем еще и лицо? Если без этого его с кем и перепутают, то разве что с эн-мужчиной.

– Да, но принять его за эн-мужчину – значит смертельно оскорбить, ведь он мигрировал из своего пола в точности как асексуал, только в другую сторону. У-мужчинами становятся, чтобы дистанцироваться от слабостей современных биологических мужчин, натуралов. Объявить, что их «консенсуальная общность» – не смейся – настолько немужественна в сравнении с тобой, что ты принадлежишь как бы к совершенно иному полу. Сказать: простой эн-мужчина не имеет права говорить от моего лица, как не имеет такого права женщина.

Джина притворилась, будто рвет на себе волосы.

– Я считаю, что ни одна женщина не имеет права говорить от лица всех женщин. Но не стану оперироваться в у-женщину или и-женщину, чтобы доказать свою мысль.

– Ну... да. Я тоже так считаю. Когда какой-нибудь железобетонный кретин пишет манифест от имени мужской половины человечества, я лучше скажу ему в лицо, что он бредит, чем перестану быть эн-мужчиной и позволю ему думать, будто он говорит за всех оставшихся. Но именно так люди чаще всего объясняют гендерную миграцию: их тошнит от самозванных гендерных лидеров или гуру из «Мистического возрождения», которые якобы их представляют. От того, что на них вешают ярлыки реальных и мнимых преступлений их пола. Если все мужчины эгоистичны, властны, буйны и жестоки, что остается делать – вскрыть себе вены или мигрировать к и-мужчинам, к асексуалам? Если все женщины – слабые, безответные, иррациональные жертвы...

Джина укоризненно щипнула меня за руку.

– Это уже карикатура на карикатуры. Так никто не говорит.

– Просто ты возвращаешься не в том обществе. Или, наоборот, в том? Но мне казалось, ты смотрела передачу. Я интервьюировал людей, которые говорили именно так, слово в слово.

– Значит, виноваты журналисты, которые тиражируют их взгляды.

Мы подошли к ресторану, но входить пока не стали. Я ответил:

– Отчасти ты права. Однако я не знаю, где решение. Положим, человек встает и объявляет: «Я говорю исключительно от своего имени». Станут показывать его – или того, кто считает себя рупором половины человечества?

– Это зависит от тебя и таких как ты.

– Ты же знаешь, все не так просто. Вообрази, что стало бы с феминизмом или с борьбой за права человека вообще, если бы никому не позволяли говорить от имени других без предварительного референдума? Если современные придурки – пародии на прежних деятелей, это не значит, что в прошлом веке телевизионщики должны были объявлять: «Извините, доктор Кинг, извините, госпожа Грир, извините, мистер Перкинс ⁴, но говорите, пожалуйста, о себе лично, а если не можете обойтись без широких обобщений, мы выведем вас из эфира».

Джина взглянула скептически.

– Это все давние истории. Ты согласишься только для того, чтобы сложить с себя ответственность.

– Разумеется. Однако суть в том, что гендерная миграция на девяносто процентов вызвана политическими соображениями. Ее иногда преподносят как этакий декаданс, блажь, модное подражание изменению пола у транссексуалов, однако большинство гендерных мигрантов не идут дальше внешней асексуальности. Они не переходят черту, да это и не нужно. Для них это протест, вроде выхода из политической партии или отказа от гражданства... или дезертирства. Что будет дальше: стабилизируется гендерная миграция на каком-то низком уровне или изменит общественное отношение настолько, что станет ненужной, или в следующем поколении человечество поровну распределится между семью полами – не знаю.

Джина скорчила гримаску.

– Семь полов – и каждый совершенно монолитен. Каждого можно определить с первого взгляда. Семь ярлыков вместо двух – это не прогресс.

– Да. Но, может быть, в конечном итоге останутся только асексуалы, у-мужчины и у-женщины. Тот, кто захочет ходить с ярлыком, будет ходить, кто не захочет – выберет загодность.

⁴ *Грир, Жермен* (род. 1939) – британская писательница австралийского происхождения, видная феминистка. Призывает к освобождению женщин именно как женщин, в противовес требованиям равенства с мужчинами. *Чарльз Нельсон Перкинс* (1936–2000) – борец за права австралийских аборигенов.

– Нет, в конечном итоге мы все станем виртуальными телами и будем загадочны или очевидны в зависимости от настроения.

– Всю жизнь мечтал.

Мы вошли. Ресторан «Неестественные вкусы» был устроен на месте универсального магазина, ярко освещенного за счет прорубленного в этажах овального колодца. Я показал входному турникету ноутпад, механический голос подтвердил наш заказ и добавил: «Столик пятьсот девятнадцать. Пятый этаж».

Джина озорно улыбнулась.

– Пятый этаж: мягкие игрушки и белье.

Я взглянул на обедающих – это были в основном у-мужчины с у-женщинами.

– Веди себя прилично, деревенщина, не то следующий раз будешь обедать в Иппинге.

Ресторан был полон по крайней мере на две трети, но столиков оказалось меньше, чем я ожидал, – большую часть помещения занимал центральный колодец. На оставшемся пространстве теснились хромированные столики и бегали официанты в смокингах. Все выглядело нарочито старинным и, на мой вкус, отдавало кинолентами с братьями Маркс. Я не большой поклонник Экспериментальной кухни: фактически, мы выступаем подопытными кроликами, пробуя безвредную для здоровья, но совершенно новую пищу, результат генно-инженерной селекции. Джина заметила, зато, мол, производители доплачивают за наш обед. Я усомнился: Экспериментальная кухня настолько вошла в моду, что, вероятно, и за полную цену сыщется статистически достоверное число охотников на каждое новшество.

Мы сели, и на мониторе зажглось меню. Цены подтвердили мои сомнения насчет доплаты. Я застонал:

– Салат из алой фасоли? Мне все равно, какого она цвета, я хочу знать, какая она на вкус. Прошлый раз это с виду напоминало фасоль, а на проверку оказалось вареной капустой.

Джина с явным удовольствием щелкала по названиям продуктов, вызывая картинки готовых блюд и таблицы с описаниями ингредиентов.

– Если смотреть внимательно, можно вычислить заранее. Глядишь, какие гены и откуда взяты, и довольно точно угадываешь вкус и вид.

– Давай, ошеломи меня чудесами науки.

Она щелкнула по кнопке «Подтвердите заказ».

– Зеленые листья будут иметь вкус макарон со шпинатом, однако железо из них усвоится легко, как из животной крови, куда там настоящему шпинату. Вот это желтое будет по виду напоминать кукурузу, а по вкусу – нечто среднее между помидорами и сладким перцем с душицей; однако его питательные свойства и запах не пропадают при долгой варке или хранении в неподходящих условиях. А синее пюре, если зажмуришься, покажется тебе пармезаном.

– Почему синее?

– Синий пигмент входит в состав светочувствительного фермента новых самосбраживающихся лактоягод. Легко устраняется при готовке, но, как оказалось, наш организм перерабатывает его в витамин D, а это безопаснее, чем получать витамин D обычным путем, через воздействие ультрафиолета на кожу.

– Пища для людей, которые не видят солнца. Как тут устоять? – Я заказал то же самое.

Подали мгновенно, и Джина угадала почти все. В целом обед получился действительно вкусный.

Я сказал:

– Ты напрасно чахнешь над воздушными турбинами. Тебе бы создавать весеннюю коллекцию для «Объединенных агрономических обществ».

– Спасибо. Однако моя интеллектуальная жизнь и так чересчур богата.

– Кстати, как поживает Большой Гарольд?

– Пока очень напоминает Маленького Гарольда и не обещает скорых улучшений, – (Маленьким Гарольдом прозвали уменьшенную в тысячу раз модель проектируемой двухсотмегаваттной турбины.) – Включились случайные резонансные состояния, которые мы не учли в компьютерной модели. Очень похоже, что придется менять половину заложенных в нее допущений.

– Никак не пойму. Вы знаете все исходные физические законы, все уравнения аэродинамики, суперкомпьютерного времени у вас выше крыши...

– Как мы при этом попадаем пальцем в небо? Потому что мы не можем рассчитать движение каждой молекулы в тысячах тонн воздуха, проходящего через сложный механизм. Все уравнения, относящиеся к потоку, дают только приближения, а мы работаем в области, где самые лучшие приближения оказываются негодными. Это не какая-то загадочная новая физика, просто мы в «серой зоне» между разными наборами упрощающих допущений. Пока любые наши компромиссные прикидки оказываются и сложными, и неприемлемыми. Хуже того, они просто неверны.

– Извини.

Она пожала плечами.

– Порою злость берет, но эта злость странным образом спасает меня от умопомешательства.

У меня кольнуло сердце: я так мало знаю о ее жизни. Она объясняет в меру моего слабого понимания, но мне никогда не понять, что творится в ее голове, когда она сидит за компьютером, жонглируя аэродинамическими моделями, или лазит среди труб, придумывая, как улучшить Маленького Гарольда.

Я сказал:

– Вот бы ты позволила снять про это фильм.

Джина сделала суровое лицо.

– И не мечтайте, мистер Франкенштуха, по крайней мере, пока не ответите мне решительно: воздушные турбины – это хорошо или плохо.

Я втянул голову в плечи.

– Ты же знаешь, это не от меня зависит. Каждый год мнения меняются. Публикуют результаты новых исследований, предлагают альтернативы...

Она с горечью перебила:

– Альтернативы?! По мне, так выращивать низковольтные биоинженерные леса на площадях в тысячу раз больших – экологический вандализм.

– Не спорю. Я всегда могу снять документальный фильм про Хорошую Турбину. И, если не сумею продать его немедленно, просто подожду, пока маятник качнется в другую сторону.

– Ты не можешь снимать в стол.

– Могу, если делать это в промежутках между заказами.

Джина рассмеялась.

– Лучше не надо. Если у тебя нет времени даже на...

– На что?

– Ничего. Не обращай внимания.

Она махнула рукой, отказываясь продолжать. Я мог настаивать, но все равно бы ничего не добился.

– Кстати, о съемках... – Я вкратце объяснил, что предложила Лидия. Джина слушала внимательно, но когда я спросил ее мнение, очень удивилась.

– Не хочешь снимать «Отчаяние», не снимай. Я-то тут при чем?

Не в бровь, а в глаз. Я сказал:

– Тебя это тоже касается. За него гораздо больше заплатят.

Джина обиделась.

– Я просто хотел сказать, если я соглашусь, мы сможем позволить себе отдых. Например, поехать в твой отпуск за океан. Ты всегда этого хотела.

Она ответила холодно:

– У меня следующий отпуск через полтора года. И за свой отдых я могу заплатить сама.

– Ладно. Забудь.

Я потянулся погладить ее ладонь, она сердито отдернула руку.

Мы ели молча. Я смотрел в тарелку, перебирал правила, пытаюсь понять, где допустил ошибку. Может, я нарушил какое-то табу в отношении денег? У нас отдельные счета, квартиру мы оплачиваем пополам, но при этом часто помогаем друг другу, дарим подарки. Как мне следовало поступить? Снять «Отчаяние» – только ради денег – и лишь потом спросить, как мы можем потратить их сообща?

Может, я нечаянно дал понять, будто жду от нее решений, и таким образом обидел, показав, что не ценю предоставленной мне самостоятельности. Голова шла кругом. По правде сказать, я понятия не имел, что думает Джина. Все так сложно, так ускользающе тонко. И еще я ума не мог приложить, что сказать и как исправить положение, чтобы ненароком его не усугубить.

Через некоторое время Джина спросила:

– И где же будет конференция?

Я открыл рот и тут понял, что не знаю. Пришлось взять ноутпад и быстро посмотреть, что насобирали **Сизиф**.

– А, вот. В Безгосударстве.

– В Безгосударстве?! – Джина рассмеялась, – Ты – закоренелый враг биотехнологии – полетишь на самый большой в мире биоинженерный коралловый остров?

– Я против плохой биотехнологии. Безгосударство – хорошее.

– Вот как? Скажи это правительствам, которые объявили эмбарго. Ты уверен, что не попадешь в тюрьму сразу, как вернешься обратно?

– Я не буду торговать с анархистами. Я даже не буду их снимать.

– Правильно – анархо-синдикалисты. Хотя они ведь и так себя тоже не называют?

Я сказал:

– Кто «они»? Смотри кого ты имеешь в виду.

– Тебе надо было вставить сюжет про Безгосударство в «Мусорную ДНК». Они процветают несмотря на эмбарго – и все благодаря биотехнологии. Это уравнило бы говорящий труп.

– Но тогда я не смог бы назвать фильм «Мусорная ДНК», согласись?

– Вот именно, – Она улыбнулась. В чем бы я ни провинился, теперь я прощен. Сердце мое колотилось, как будто я падал в пропасть и в последний миг удержался на краю.

Десерт напоминал по вкусу картон со снегом, но перед уходом мы честно ответили на вопросник в настольном компьютере.

Мы пошли по Джордж-стрит на север, к Мартин-плейс. Здесь в здании старого почтамта расположился ночной клуб под названием «Сортировочная». Играла зимбабвийская музыка «ньяри», многоуровневая, гипнотическая, ритмичная, но никогда – метрономическая; обрывки мелодий отпечатывались в мозгу, как следы от ногтей на коже. Джина танцевала самозабвенно, музыка, по счастью, гремела так, что разговаривать было практически невозможно. В этом бессловесном мире я мог не бояться, что снова ее обижу.

Мы ушли во втором часу, в поезде на Иствуд сидели в уголке и целовались, словно подростки. Интересно, как поколение моих родителей водило в таком состоянии свои обожжаемые автомобили? (Плохо, надо думать.) Дорога до дома заняла десять минут и показывала

лась слишком короткой. Мне хотелось, чтобы все разворачивалось как можно медленнее. Чтобы это заняло часы.

По пути от станции мы все время останавливались, а на пороге стояли так долго, что охранная система даже спросила, не забыли ли мы ключи.

Когда мы разделись и повалились на кровать, у меня поплыло перед глазами. Сперва подумал, это от желания. Только когда руки начали неметь, я понял, что происходит.

Я перебрал с блокаторами мелатонина, истощил резервы той области гипоталамуса, которая отвечает за бодрствование. Взял в долг непозволительно много времени, и плато резко пошло вниз.

Я сказал в ужасе:

– Сам не верю. Извини.

– За что?

(Я все еще был в полной боевой готовности.)

Я заставил себя сосредоточиться, дотянулся до фарма-блока и нажал кнопку.

– Дай мне полчаса.

– Нет. Пределы безопасности...

– Пятнадцать минут, – взмолился я, – Жизненная необходимость.

Фармаблок помолчал, сверился с охранной системой.

– Никакой жизненной необходимости нет. Ты в постели, дому ничто не угрожает.

– Я тебя сломаю. В металлолом сдам.

Джину такой поворот событий скорее насмешил, чем раздосадовал.

– Вот видишь, что бывает, когда идешь против природы? Надеюсь, ты не снимаешь нас для «Мусорной ДНК»?

Ехидная, она была еще в тысячу раз желанней, но сон уже наваливался на меня. Я пролепетал жалобно:

– Ты меня простишь? Может быть, завтра?..

– Ну уж нет. Завтра я работаю до часа ночи. И ждать не собираюсь, – Она взяла меня за плечи и перекатила на спину, сдавила коленями бока.

Я протестующе засопел. Она наклонилась и нежно поцеловала меня в губы.

– Ну же! Ты ведь не хочешь потерять такую редкую возможность?

Она нашла его рукой, погладила; я чувствовал, как он отзывается на ее касание, но уже сам по себе, а не как часть моего тела.

Я пробормотал:

– Насильница. Некрофилка.

Мне хотелось произнести длинную прочувствованную речь о сексе и общении, но Джина явно решила заранее опровергнуть мой главный тезис.

– Это значит «да» или «нет»?

Я понял, что не сумею открыть глаза.

– Валяй.

Дальше началось что-то смутно приятное, однако восприятие постепенно гасло, тело качалось на волнах.

Я слышал, как голос за световые годы отсюда нашептывает что-то о «сладких снах».

Сам я падал во тьму, без чувств, без ощущений. Мне снилось, что я погружаюсь в океан.

Тону в пучине вод. Один.

6

Я слышал, что Лондон сильно пострадал от внедрения сетей, но, в отличие от Сиднея, не превратился окончательно в город-призрак. Развалины здесь гораздо обширнее, но используются куда более бережливо; даже последние небоскребы из стекла и алюминия, выстроенные на рубеже тысячелетий для банкиров и биржевиков, и «высокотехнологичные» типографии, совершившие «революцию» в издании газет (прежде чем стать окончательно ненужными), объявлены «памятниками истории» и взяты под крылышко туристической индустрии.

Впрочем, у меня не было времени посещать притихшие склепы Бишопсгейта и Уоппинга. Я сразу пересел на самолет до Манчестера, заранее предвкушая, что увижу много интересного. **Сизиф** подготовил короткую историческую справку, и я прочел, что к двадцатым в городе сложилось исключительно благоприятное соотношение между ценами на недвижимость и стоимостью коммунальных услуг. В итоге сюда потянулись с юга тысячи компаний, занятых в информационной сфере, – те, чьи служащие работали на дому и связывались через сеть с маленьким центральным офисом. Промышленный подъем затронул и академическую науку; сейчас Манчестерский университет признан ведущим как минимум в десятке научных направлений, включая нейролингвистику, неопротеиновую химию и самые современные методы медикографии.

Я прокрутил пленку, отснятую в городском центре – множество пешеходов, велосипедистов, колясок, – и выбрал несколько кусков для вступления. Сам я на автоматизированной стоянке возле вокзала Виктория взял напрокат велосипед, на целый день и всего за десять евро. «Смерч» последней модели – красавец, легкий, изящный, практически вечный – собранный в соседнем Шеффилде. По желанию седока он может эмулировать обычный велосипед (простейшая опция, а пуристам-мазохистам приятно), но на самом деле колеса и педали не связаны механически. Строго говоря, это электромопед на ножном приводе. Помещенные в шасси сверхпроводящие контуры временно аккумулируют энергию, крути себе педали и ни о чем не думай, нагрузка одинаковая, что в гору, что с горы, тормоза – энерговосстанавливающие. Ехать со скоростью 40 км/ч не труднее, чем идти хорошим шагом, холмы преодолеваются плавно – энергопотери на подъемах практически компенсируются на спусках. Думаю, такая машина стоит не меньше двух тысяч евро, однако навигационная система, маяки и замки устроены до того хитро, что ее не украсть без маленького заводика и докторской степени по криптографии.

Городские трамваи ходят почти повсюду, но повсюду проложены и крытые велосипедные трассы, так что к месту назначенной встречи я поехал на «Смерче».

Мне предстояло увидеться с Джеймсом Рурком – пресс-секретарем Ассоциации добровольных аутистов. Он оказался худым и угловатым, чуть за тридцать; тогда, при встрече, меня поразила его мучительная неловкость, неумение смотреть в глаза собеседнику, скованность жестов. Речь внятная, но никакой телегеничности.

Теперь, разглядывая его на экране, я понял, как сильно ошибался. Нед Ландерс разыграл блестящий спектакль, не оставляющий места для вопроса – что же за этим кроется? Рурк не играл и в итоге – приковывал к себе взгляд и одновременно бередил душу. После уверенных, элегантных представителей «Дельфийских биосистем» (зубы и кожа от лучших косметических фирм, искренность от программы обучения персонала) это будет хорошей встряской для зрителя; от приятной дремоты не останется и следа.

Впрочем, придется немножко сгладить.

У меня самого есть полностью аутичный двоюродный брат, Натан. Мы виделись лишь однажды, в детстве. Ему повезло, болезнь не затронула другие области мозга, и в то время он

еще жил с родителями в Аделаиде. Он показывал мне свой компьютер, захлебываясь, расписывал каждую примочку и, в общем-то, ничем не отличался от обычного тринадцатилетнего компьютерного маньяка за новой игрушкой. Но вот он стал показывать свои любимые программы – зубодробительные пасьянсы, викторины для эрудитов, математические головоломки, более уместные на экзамене, чем на досуге. Я что-то по этому поводу съязвил, он не услышал. Я стоял рядом и говорил гадства, одну обиднее другой, а он смотрел в экран и улыбался. Не от какой-то особой кротости. Он просто не замечал.

Я три часа интервьюировал Рурка в его квартирке; у АДА нет «центрального офиса» в Манчестере и вообще нигде. Почти тысяча членов из сорока семи стран – и один Рурк согласился поговорить со мной, и то лишь потому, что это его работа.

Разумеется, он не полностью аутичен. Однако он показал мне снимки своего мозга.

Я прокрутил сырой метраж.

– Видите маленькое повреждение в левой передней доле? – (Стрелка курсора указала на крохотное затемнение, чуть видный зазор в сером веществе.) – Теперь сравните со снимком мозга двадцатидевятилетнего полностью аутичного мужчины, – (Опять темное пятнышко, в три или четыре раза больше.) – А вот неаутичный субъект того же пола и возраста, – (Никакого поражения.) – Патология не всегда столь очевидна – это чаще не зазор, а искривление в соответствующей области – но примеры эти показывают, что у наших требований есть вполне четкие физиологические основания.

Камера переместилась с ноутбука на его лицо. **Очевидец** сделал это гладко, построив необходимые кадры между двумя углами съемки, так же как он убирает быстрые скачкообразные движения зрачков, бегающих туда-сюда, даже когда глаза вроде бы смотрят в одну сторону.

Я сказал:

– Никто не отрицает, что у всех вас поражена одна и та же область мозга. Но почему не радоваться, что патология сравнительно мала, и не оставить все как есть? Почему не возблагодарить природу за то, что вы можете существовать среди людей, и не зажить своей жизнью?

– Вопрос сложный. Для начала это зависит от того, что вы называете «существованием».

– Вам не надо жить в лечебнице. Вы можете выполнять высококвалифицированную работу.

По основному роду занятий Рурк – старший научный сотрудник, занимается фундаментальной лингвистикой, то есть не в вакууме работает, а среди людей.

Он сказал:

– Разумеется. Иначе мы назывались бы «полностью аутичными». Это и считается критерием отличия частичного аутизма: мы можем выжить в обычном обществе. Наша ущербность не безнадежна – и мы, как правило, можем изобразить многое из того, чего нам недостает. Иногда мы даже самих себя убеждаем, что все в порядке. На какое-то время.

– На какое-то? У вас есть работа, деньги, независимость. Что еще входит в «существование»?

– Межличностные отношения.

– То есть межполовые?

– Не только. Но они – самые трудные. И самые... отрезвляющие.

Он нажал кнопки на ноутбуке: появилась карта мозга.

– Все – или почти все – инстинктивно пытаются понять других. Угадать, что те думают. Предвосхитить их поступки. «Познать» их. Люди создают в мозгу символические модели окружающих: и для того, чтобы связать воедино то, что наблюдают – речь, жесты, поступки,

и чтобы как-то объяснить недоступное непосредственному восприятию – мотивы, намерения, чувства.

Пока он говорил, карта мозга исчезла и сменилась функциональной диаграммой отвлеченной личности – квадратиками и кружками с подписями и стрелками.

– У большинства людей это происходит без всякого или почти без всякого сознательного усилия, по *врожденной способности* моделировать других. Способность эта развивается в детстве путем тренировки, и полная изоляция способна ее убить – как в полной темноте атрофируются зрительные центры. Если исключить такие крайние случаи, воспитание не играет роли. Аутизм может быть вызван лишь врожденным мозговым нарушением либо последующей травмой. Существуют генетические факторы риска, включающие подверженность внутриутробной вирусной инфекции, однако сам аутизм – не наследственная болезнь.

Я уже снял эксперта в белом халате, который говорил примерно то же самое, однако доскональное знание членами АДА собственного состояния и есть гвоздь сюжета. И Рурк объяснял понятнее, чем врач.

– Искомая мозговая структура занимает небольшую область в левой передней доле. Отдельные детали описания конкретных людей рассеяны по всему мозгу, как и прочие воспоминания; но в этой структуре они автоматически соединяются и интерпретируются. Если она повреждена, человек все равно видит и запоминает чужие действия – однако не понимает их значения. Он не делает «очевидных» умозаключений, у него не возникает немедленных толкований.

Вновь появилась карта мозга, на сей раз с темным пятном. Она сменилась функциональной диаграммой – явно нарушенной, с красными пунктирами на месте разорванных связей.

Рурк продолжал:

– Структура, о которой идет речь, вероятно, начала эволюционировать в человеческую сторону у приматов, хотя в зачаточном виде присутствует уже у первых млекопитающих. Впервые ее обнаружил и изучил – на примере шимпанзе – нейробиолог Ламент в 2014-м. Несколько лет спустя ее нашли и в человеческом мозгу. Вероятно, главное назначение области Ламента – сделать возможным обман. Благодаря ей вы догадываетесь, как воспринимают вас другие, и прячете свои истинные намерения. Если вы умеете прикинуться угодливым помощником, вам легче украсть еду или переспать с чужой самкой. Однако, едва такая возможность возникла, естественный отбор неизбежно выработал и противоядие: те, кто научился различать обман, оказались более жизнестойкими. Как только люди изобрели ложь, пути назад не осталось. Снежный ком мог только расти.

Я сказал:

– Значит, полный аутист не умеет лгать и не видит, когда лгут ему. А частичный?

– Одни умеют, другие – нет. Это зависит от конкретного нарушения. Мы не все одинаковые.

– Ясно. Так что с контактами?

Рурк отвел взгляд – казалось, ему больно говорить на эту тему; однако продолжал ровным голосом, словно записной оратор, твердящий заученную речь:

– Моделируя других людей, можно не только обманывать, но и сотрудничать. Сопереживание сплачивает общество на любом уровне. Однако, по мере того как первобытные люди постепенно переходили к относительной моногамии, росла роль совокупности мозговых процессов, отвечающих за отношения внутри пары. Способность сопереживать половому партнеру получила особый статус: его жизнь, при определенных условиях, так же важна для сохранения ваших генов в потомстве, как и ваша собственная.

Разумеется, большинство животных инстинктивно защищает детенышей и брачного партнера, доходя в этом до самопожертвования; альтруизм – древнейшая поведенческая

модель. Но как совместить инстинктивный альтруизм с человеческой самостью? Как получилось, что зрелое «я», растущая привычка оценивать любое действие с точки зрения своих интересов не заслонила все остальное?

Ответ таков: эволюция изобрела взаимопонимание. Оно позволяет перенести некоторые – или даже все – черты, ассоциируемые с драгоценным эго – моделью себя, – на модели других людей. Не просто позволяет – делает это приятным. **Удовольствие** усиливается сексом, но, в отличие от оргазма, им не ограничивается. Оно даже не ограничивается половыми партнерами. Взаимопонимание – это вера, что вы знаете своих любимых почти как себя.

Слово «любимые» среди всей этой социобиологии прозвучало ошарашивающе, однако Рурк употребил его без всякой иронии, без нарочитости, словно язык эволюционной теории органично сливается для него с языком чувств.

Я спросил:

– И даже частичный аутизм делает это невозможным? Вы не можете моделировать других настолько, чтобы понять?

Рурк явно не доверял коротким ответам.

– Опять-таки, мы не одинаковы. Некоторые могут моделировать достаточно точно, во всяком случае, не хуже других, но не получают от этого удовольствия. Те сегменты области Ламента, благодаря которым большинство людей радуются взаимопониманию, ищут его, у них отсутствуют. Их считают «холодными», «заносчивыми». А бывает и наоборот: люди ищут взаимопонимания, но настолько ошибаются в своих оценках, что не находят. Им либо недостает общественных навыков, чтобы создать устойчивую семью, либо, если они настолько умны и изобретательны, чтобы обойти социальные проблемы, сам мозг оценивает модель как ошибочную и отказывается получать радость. Тяга никогда не удовлетворяется, потому что ее в принципе невозможно удовлетворить.

Я заметил:

– Сексуальные отношения вообще трудны. Есть мнение, что вы придумали себе неврологический синдром нарочно, чтобы уйти от ответственности, с которой сталкивается каждый.

Рурк опустил глаза в пол и снисходительно улыбнулся.

– А надо просто взять себя в руки и приложить больше стараний?

– Или это, или позволить аутооттрансплантам выправить отклонение.

Можно без вреда для мозга взять из него небольшое количество нейронов и глиальных клеток, вернуть их в эмбриональное состояние, размножить в пробирке и впрыснуть в поврежденную область. Эмбриональные гормоны введут клетки в заблуждение, и те, поверив, что находятся в формирующемся мозгу, попытаются заново выстроить недостающие синаптические связи. У полных аутистов такое лечение редко дает результат, но у людей с небольшими зазорами выздоровление наступает в сорока процентах случаев.

– «Добровольные аутисты» не против такого варианта. Мы боремся лишь за то, чтобы нам разрешили другой выход.

– То есть увеличить зазор?

– Да. Вплоть до полного удаления области Ламента.

– Зачем?!

– Опять-таки, вопрос сложный. У всякого своя причина. Во-первых, мы хотим иметь возможно более широкий выбор. Как транссексуалы.

Рурк имел в виду другую операцию на мозге, которая в свое время тоже наделала шума: НКП. Невральную коррекцию пола. Уже почти сто лет люди, рожденные с несоответствием психологического гендера физиологическому, могут изменять свое тело, причем год от года операции делаются совершеннее. В 20-х нашли другое решение: изменять пол мозга, подгонять существующую в нем схему тела под реальную. Многие – среди них заметное число

транссексуалов – бурно протестовали против легализации НКП, опасаясь, что операцию будут делать принудительно или в младенческом возрасте. Однако к сороковым годам страсти улеглись, и возможность стала вполне законной: примерно двадцать процентов транссексуалов прибегают к ней по собственной воле.

Снимая «Половой перебор», я интервьюировал и тех и других. Один, родившийся с женским телом и после операции превратившийся в эн-мужчину, захлебывался от восторга: «Это оно! Это мое! Я свободен!» Другая – выбравшая НКП – взглянула в зеркало на свое не измененное лицо и заявила: «Такое ощущение, будто я очнулась от сна, от галлюцинации, и вижу себя такой, какова я есть». Судя по реакции зрителей на «Половой перебор», аналогия Рурка вызовет самое горячее сочувствие – если я оставлю ее в окончательной редакции.

Я заметил:

– Однако в случае транссексуалов обе операции преследуют одну цель: получить здоровых мужчину или женщину. Стать аутистом – совсем не то же самое.

Рурк возразил:

– Но мы, как и транссексуалы, страдаем от несоответствия. Не между телом и мозгом, а между тягой к взаимопониманию и неспособностью его достичь. Никто, кроме религиозных фундаменталистов, не требует, чтобы транссексуалы смирились и жили как есть, а не выдумывали какое-то медицинское вмешательство.

– Однако никто не мешает вам прибегнуть к медицинскому вмешательству. Аутоотрансплантация разрешена законом. А процент выздоровлений будет расти.

– Я уже говорил, что АДА не против этого решения. Для кого-то оно окажется верным.

– Но как оно может оказаться неверным?

Рурк замялся. Без сомнения, он заранее написал и отрепетировал все, что собирался сказать, но сейчас наступила критическая минута. Чтобы добиться поддержки, он должен объяснить зрителям, почему не хочет лечиться.

Он проговорил осторожно:

– Многие полные аутисты страдают и от других нарушений в мозгу, и от различного рода умственной отсталости. Мы – нет. Пусть область Ламента у нас повреждена, нам хватает разума оценивать свое состояние. Мы знаем, что не-аутисты способны верить, будто достигли взаимопонимания, и мы, в АДА, решили, что лучше обойдемся без такой способности.

– Почему?

– Потому что это способность к самообману.

Я сказал:

– Если аутизм – это невозможность понять других, а вылечить зазор – значит вернуть вам утраченное понимание...

Рурк перебил:

– Но в какой мере понимание, а в какой – иллюзию понимания? Что это – знание или утешительная, но ложная вера? Эволюции все равно, в какой мере правдиво наше восприятие, разве что речь идет о вещах чисто практических. А бывает, что обман даже полезнее. Если мозг должен породить преувеличенную веру в наши способности понимать другого – чтобы влечение внутри пары пересилило личный эгоизм, – он будет лгать, бесстыдно, безгранично, лишь бы добиться желаемого.

Я молчал, не зная, что ответить, и смотрел на Рурка. Тот явно ждал моего следующего вопроса. Он по-прежнему выглядел неловким, стеснительным, но у меня вдруг мурашки побежали по коже. Он искренне убежден, что болезнь подарила ему способность видеть дальше обычных людей, и если не жалеет нас, запрограммированных на самообман, то, по крайней мере, воображает, будто ему доступен более широкий, ясный взгляд.

Я сказал торопливо:

– Аутизм – тяжелая, трагическая болезнь. Как можете вы ее... романтизировать, выставлять просто другим возможным образом жизни?

Рурк отвечал вежливо, но непреклонно:

– Ничего подобного я не говорю. Я видел сотни полных аутистов, встречался с их семьями. Я лучше других знаю, какие это страдания. Если бы я мог завтра все изменить, я бы сделал это не колеблясь. Однако у нас – свои судьбы, переживания, устремления. Мы не полные аутисты и, если удалим область Ламента во взрослом возрасте, не станем такими же, как те, кто без нее родился. Большинство из нас научились компенсировать свое состояние, моделируя других сознательно, кропотливо, – это гораздо труднее, чем пользоваться врожденной способностью; но, утратив ту малую ее долю, которой обладаем, мы не станем беспомощными. Не станем и «эгоистичными», «безжалостными», «бесчувственными» или как еще называют нас газетчики. Сделав операцию, мы не потеряем работу, не переселимся в лечебницы. Обществу не придется потратить на нас ни цента...

Я возразил сердито:

– Траты – это последний вопрос. Вы говорите о том, чтобы сознательно, хирургическим путем, избавиться от чего-то... фундаментального для человечества.

Рурк поднял глаза и спокойно кивнул, как будто я наконец сформулировал нечто такое, с чем мы оба полностью согласимся.

– Вот именно. Мы десятилетиями жили, сознавая фундаментальную правду о человеческих отношениях, и не хотим отказываться от нее, не хотим утешительного обольщения, которое подарили бы аутоимпланты. Все, чего мы хотим, – довести свой выбор до завершения. Чтобы нас не преследовали за отказ обманывать себя.

Так или иначе, я причесал интервью. Я побоялся перефразировать Джеймса Рурка; обычно довольно легко видеть, правильно ли ты изложил чужую мысль, но здесь я вступал на шаткую почву. Я даже не был уверен, что компьютер убедительно моделирует его мимику, – когда я попробовал, движения оказались совсем не те, как будто работающая по умолчанию программа (обычно безошибочно подставляющая нужный жест) перестаралась в своем стремлении заполнить пустоту. Кончилось тем, что я не стал ничего менять, просто выбрал лучшие строки, смонтировал их с остальным материалом, а когда так не выходило, пересказывал в дикторском тексте.

Потом я просмотрел разметку сырого метража. Каждый отснятый эпизод начинался и заканчивался кадрами со своим номером, временем и местом. Эпизодов, из которых я не взял ничего, оказалось совсем мало; я прокрутил их еще разок – чтобы убедиться, что не потерял ничего важного.

В одном из них Рурк показывал мне свой «офис» – уголок двухкомнатной квартиры. Мне бросилась в глаза фотография – на ней Рурку было лет двадцать, он снялся с женщиной примерно того же возраста.

Я спросил, кто это.

– Моя бывшая жена.

Молодые люди стояли на людном пляже, видимо, где-то на Средиземном море. Они держались за руки и старались смотреть в объектив, но не утерпели, и фотограф запечатлел косой заговорщицкий взгляд. В нем было желание, но и... понимание. Если это не образ душевной близости, то очень похожая имитация.

Иногда мы даже самих себя убеждаем, что все в порядке. На какое-то время.

– Долго вы были женаты?

– Почти год.

Мне, разумеется, было любопытно, но я не стал выпрашивать подробности. «Мусорная ДНК» – документальный научный фильм, а не репортаж из-под одеяла; личная жизнь Рурка меня не касается.

На следующий день после интервью мы разговаривали еще раз, неофициально. Я снял эпизод на несколько минут – Рурк за работой, помогает компьютеру отслеживать изменения гласных в хиндиязычных сетях – и теперь мы прогуливались по территории университета. (На самом деле Рурк работает дома, но мне так нужно было сменить фон, что пришлось чуть-чуть подтасовать.) Манчестерский университет состоит из восьми разбросанных по городу учебно-научных комплексов; мы были в самом новом, где ландшафтные архитекторы вдоволь нарезвились с биоинженерной растительностью. Даже трава выглядела неправдоподобно густой и сочной, и в первые секунды эпизод показался мне топорной комбинированной съемкой: английское небо над брунейской землей.

Рурк сказал:

– Знаете, я завидую вашей работе. В АДА я вынужден сосредоточиться на одной области изменений. А вы способны окинуть взглядом их все.

– Какие именно? Развитие биотехнологии?

– Биотехнологию, медикографию, искусственный интеллект... да все. Всю битву из-за Ч-слов.

– Ч-слов?

Он загадочно улыбнулся.

– Маленького и большого. Это то, чем запомнится наше столетие. Борьбой за два слова. Два определения.

– Я даже смутно не догадываюсь, о чем вы.

Мы шли через миниатюрный лес между зданиями – густой, диковинный, загадочный и мрачный, словно джунгли на картине сюрреалиста.

Рурк повернулся ко мне.

– Как вернее унизить в разговоре человека, с которым вы не согласны или которого не понимаете?

– Не знаю. Как?

– Сказать, чтобы он вылечился. Первое Ч-слово. Лечение.

– А.

– Медицинские технологии переживают стремительный взлет. На случай если вы вдруг не заметили. Куда будет направлена эта мощь? На поддержание – или создание – «здоровья». Но что такое «здоровье»? Оставим в стороне вещи, с которыми все согласны. В чем окончательная цель «лечения», когда наука победит последний вирус, последнего паразита, последнюю раковую клетку? Чтобы все мы заняли predetermined места в некоем эдемистском «природном порядке»... – Он остановился и с иронией указал на цветущие вокруг орхидеи и лилии: —...И вернулись к состоянию, продиктованному нашей биологией: охоте и собирательству, а умирали бы в тридцать – сорок лет? Это цель? Или – предоставить нам выбор между всеми возможными способами бытия? Тот, кто присваивает себе право различать «здоровье» и «болезнь», присваивает себе... все.

Я отозвался:

– Вы правы. Слово многогранно и дает простор для толкований. Наверное, оно всегда будет спорным.

Не мог я возразить и против выражения «унизить»: «Мистическое возрождение» вечно предлагает «вылечить» людей от «душевной немоты», превратить нас в «гармоничные» существа. Другими словами – в точные копии их самих, с теми же взглядами, теми же устремлениями, с теми же невротами и суевериями.

– А какое другое Ч-слово? Большое?

Он склонил голову набок и робко взглянул на меня.

– Правда не догадываетесь? Вот вам подсказка. Как, не утруждая мозги, победить в споре?

– Вам придется растолковать. Я не мастер разгадывать загадки.

– Вы можете сказать, что вашему оппоненту недостает человечности.

Я замолк. Мне было стыдно или, по крайней мере, неловко; я только сейчас понял, как сильно задел его вчера. Чем плохо встречаться на следующий день после интервью: собеседник успевает прокрутить в голове весь разговор, минута за минутой, и прийти к выводу, что именно говорил неправильно.

Рурк сказал:

– Это – древнейшее семантическое оружие. Вспомните обо всех, кого разные культуры в разные времена считали недочеловеками. Иноплеменики. Люди с другим цветом кожи. Рабы. Женщины. Душевнобольные. Глухие. Евреи. Боснийцы, хорваты, сербы, армяне, курды.

Я сказал решительно:

– По-вашему, газовые камеры и риторический оборот – одно и то же?

– Разумеется, нет. Но, положим, вы говорите, что мне «недостает человечности». Что это означает? Что я такого совершил? Убил кого-то? Утопил щенка? Ел мясо? Не проникся Пятой симфонией Бетховена? Или просто не живу или не стремлюсь жить в точности той же эмоциональной жизнью, что и вы? Не разделяю все-все ваши ценности и устремления?

Я не ответил. Позади сквозь джунгли пронеслись велосипедисты; пошел дождь, но под густыми кронами было по-прежнему сухо.

Рурк продолжал бодро:

– Ответ: любое из перечисленного. А это и есть умственная лень. Усомниться в чьей-либо человечности – значит поставить его в ряд с наемными убийцами, тогда можно не трудиться и не вникать в его взгляды. При этом вы как бы уверены, что существует воображаемый консенсус, что за вашей спиной стоит разгневанное большинство и подтверждает каждое ваше слово. Когда вы говорите, что «Добровольные аутисты» намерены избавиться от человеческого в себе, вы не только присваиваете божественное право произвольно толковать это слово. Вы еще и подразумеваете, что все на планете, кроме разве что новых Адольфа Гитлера и Пол Пота, согласны с вами до последней мелочи, – Он распростер руки и продемонстрировал, обращаясь к деревьям: – «Отложите скальпель, молю... во имя человечности!»

Я пробормотал:

– Ладно. Может быть, вчера я выразился неудачно. Я не хотел вас обидеть.

Рурк весело покачал головой.

– Я и не обиделся. В конце концов, это сражение, и я не жду быстрой капитуляции. Вы верны узкому определению Большого Ч; возможно, вы даже искренне верите, что все остальные думают так же. Я – сторонник более широкого толкования. Мы согласны, что не согласны. Встретимся в окопах.

Узкому? Я открыл было рот, чтобы отвести упрек, но понял, что не знаю, чем оправдываться. Что было сказать? Что я снял сочувственный фильм о гендерной миграции? А теперь пытаюсь уравновесить его франкенштушной картиной о «Добровольных аутистах»?

Так что последнее слово осталось за ним (во всяком случае, в реальном времени). Мы обменялись рукопожатиями и разошлись.

Я еще раз прокрутил все с самого начала. Рурк был на удивление красноречив, по-своему убедителен, ни на одну его фразу нельзя было возразить. Однако его словечки, его внезапные вспышки – все это было слишком спорно, слишком вызывающе.

Я не стал брать из этого эпизода ничего.

Во второй половине дня у меня была еще встреча в университете – со знаменитой манчестерской ГМГИ, Группой медикографических исследований. Жалко было упускать такой случай, тем более что именно медико-графия позволяет точно диагностировать частичный аутизм.

Я прокрутил отснятое. Многое вышло хорошо – наверное, стоит сделать из этого отдельный пятиминутный фильм для журнальной части ЗРИнет – но все послойные снимки мозга для «Мусорной ДНК» показал в своем ноутпаде Рурк.

Я отснял эксперимент: добровольно вызвавшаяся студентка читает про себя стихи, а на экране под каждой строчкой высвечивается изображение ее мозга. Картинки было три: одна показывала зрительное восприятие, вторая – узнанные словоформы, третья – окончательные семантические понятия, причем последняя напоминала две предыдущих лишь в самом начале, до того как точные значения слов расплывались в облаке ассоциаций. Все это было захватывающе интересно, но не имело никакого отношения к области Ламента.

В конце дня одна из сотрудниц, глава программистского отдела Маргарет Уильямс, предложила мне самому забраться в кабину сканера. Может, им хотелось отплатить мне моей же монетой – проанализировать и записать меня на своем оборудовании, как я в предыдущие четыре часа записывал их на своем. Во всяком случае, Уильямс настаивала так, будто для нее это вопрос справедливости.

Она убеждала:

– Вы снимете то, что видите. А мы – то, что скрыто от глаз.

Я отказался.

– Не знаю, что магнитные поля сделают с моим оборудованием.

– Ничего, обещаю. Здесь в основном оптика, а все остальное за экраном. Вы же летаете на самолетах? Проходите через магнитные ворота?

– Да, но...

– Наши поля не сильнее. Мы даже можем считать через сканер активность вашего зрительного нерва – а потом сравнить изображения.

– У меня нет с собой загрузочного модуля. Он в гостинице.

Она покусала губы, явно умирая от желания сказать: заткнись и делай что говорят.

– Жалко. А если мы придумаем что-нибудь? Найдем свои кабель и интерфейс?

– Боюсь, это не годится. Программа зафиксирует использование нестандартного оборудования, и у меня будут трудности с гарантийным обслуживанием.

Она не сдалась:

– Вы вот говорили про «Добровольных аутистов». Если хотите впечатляющую иллюстрацию, мы можем снять вашу область Ламента, пока вы будете вспоминать разных людей. Мы можем записать это и прокрутить для вас. Вы покажете зрителям, как она действует живьем, не в компьютерной анимации. Нейроны качают кальциевые ионы, синапсы работают. Мы можем даже преобразовать вашу мозговую архитектуру в функциональную диаграмму, подписать ее, указать характерные символы. У нас есть все необходимые программы...

Я сказал:

– Спасибо. Но что я буду за журналист, если начну снимать репортажи о себе самом?

7

За две недели до начала эйнштейновской конференции я подписал со ЗРИнет контракт на «Вайолет Мосала – служительница симметрии». Подмахивая электронный документ стилусом из своего ноутпада, я уговаривал себя: ты не выпросил эту работу по знакомству, а получил, потому что справишься лучше. В этом был свой резон: Сара Найт на пять лет меня моложе и большую часть жизни занималась политической журналистикой. То, что она – фанатка Мосалы, скорее минус: ЗРИнет не нуждается в восторженном панегирике. Однако при всем моем профессионализме я лишь раз заглянул в подобранный **Сизифом** материал и так толком не понял, что прочитал.

По правде сказать, все это были мелочи. Хотелось поскорее забыть «Мусорную ДНК» и убежать подальше от «Отчаяния». Двенадцать месяцев я варился в худших крайностях биотехнологии, и неиспорченный мир теоретической физики казался теперь блаженными математическими небесами, где все холодно, абстрактно и решительно ничем не грозит... Этот образ плавно сливался с белой коралловой снежинкой самого Безгосударства, безупречным звездчатым фракталом, растущим из синевы Тихого океана. Я понимал, как опасно обольщаться. Мало ли подлянок в запасе у реальной жизни? *Я могу заболеть устойчивой к большинству антибиотиков пневмонией или малярией, к которой у местных жителей иммунитет. Из-за бойкота на острове нет высокотехнологичных фармаблоков, которые диагностировали бы патогенные микроорганизмы и синтезировали лекарство; я так ослабею, что не смогу сесть в самолет...* Все это были не пустые домыслы: за годы бойкота именно так погибли сотни людей.

Однако любые опасности лучше, чем оказаться лицом к лицу с жертвой Отчаяния.

Я оставил сообщение Вайолет Мосале, считая, что она еще у себя в Кейптауне, хотя программа-автоответчик ни о чем таком не извещала. Представился, поблагодарил за любезное согласие уделить время нашему проекту и наговорил обычных вежливых фраз. перезвонить не попросил; самый короткий разговор в реальном времени обнаружил бы полное мое невежество. *Пневмония, малярия... перспектива выставить себя полным идиотом.* Все это не имеет значения. Лишь бы сбежать.

Я накручивал себя, что придется «заново переживать» воскрешение Дэниела Каволини, хотя должен бы сообразить, что это чушь. Монтировать вовсе не значит воссоздавать прошлое – скорее анатомировать его. Я работал над отрывком бесстрастно, и с каждым часом мой труд – представить реакцию зрителя, видящего сцену впервые, – все больше превращался в вопрос расчета и чутья и все меньше соотносился с моими собственными переживаниями. Даже последний эпизод, очень неожиданный и эффектный, оказался для меня посмертным оживлением посмертного оживления. Это случилось, это миновало; какое бы краткое подобие жизни ни породила технология, оно так же не способно вылезти из экрана и пройти по улице, как любой другой подергивающийся труп.

Люка, брата Дэниела, судили и признали виновным. Я залез в судебные отчеты и просмотрел все три заседания. Судья потребовал, чтобы обвиняемого освидетельствовали психиатры, и те заявили, что Люк Каволини страдает внезапными вспышками «неконтролируемого гнева», однако не может быть признан душевнобольным и отправлен на принудительное лечение, поскольку даже во время этих вспышек отдает себе отчет в своих действиях. Его сочли вменяемым, даже «мотив» сыскался: в вечер перед убийством они повздорили из-за куртки Дэниела, которую взял Люк. Ему светит не меньше пятнадцати лет в тюрьме общего режима.

Судебные отчеты открыты для всех, но в эфире для них времени не будет. Поэтому я написал короткий постскриптум к истории оживления, одни факты: обвинение и решение

суда. Заключение психиатров упоминать не стал, чтобы не замутнять картину. Компьютер зачитал мои слова над застывшим кадром: Дэниел Каволини на операционном столе, рот раскрыт в крике.

Я произнес:

– Экран гаснет. Титры.

Это было во вторник, двадцать третьего марта, в 16.07.

С «Мусорной ДНК» покончено.

Я черкнул Джине записку и отправился в Иппинг, сделать прививки перед поездкой. Ученые Безгосударства передают местные «погодные сообщения», и метеорологические, и эпидемиологические, в сеть; несмотря на все чудные проявления политического остракизма, органы ООН поступают с этими данными как с идущими от любой законной страны-члена. Как выяснилось, вспышки малярии или пневмонии не зафиксированы, зато замечены новые штаммы аденовирусов, не смертельных, однако вполне способных испортить поездку. Элис Томаш, мой терапевт, ввела последовательности для нескольких коротких пептидов, которые повторяют протеины вирусной оболочки, синтезировала РНК и поместила в безобидные, генетически измененные аденовирусы. Вся процедура заняла десять минут.

Пока я вдыхал живую вакцину, Элис сказала:

– Мне понравился «Половой перебор».

– Спасибо.

– Вот только последняя часть... Элейн Хоу об эволюции пола. Вы и впрямь в это верите?

Хоу утверждает, что человечество вот уже несколько миллионов лет уходит от собственных древним млекопитающим полового диморфизма и поведенческих отличий. Мы постепенно выработали биохимические особенности, которые активно влияют на древние генетически обусловленные гендерноспецифические мозговые связи; мы по-прежнему наследуем разные чертежи, но гормональное воздействие во внутриутробный период не позволяет им реализоваться полностью: мозг женского зародыша в значительной степени «маскулинизируется», мужского – «феминизируется». (Гомосексуальность возникает, если процесс заходит чуть дальше.) В конечном итоге – даже если мы откажемся от генной инженерии, как требуют эдемисты, – половая конвергенция все равно идет. Даже если мы не станем вмешиваться в природу, природа вмешается в нас.

– Мне показалось, что это удачная концовка. И потом, все, что говорила Хоу, – правда, разве нет?

Элис не ответила и переменяла тему:

– А что вы снимаете сейчас?

Я не мог заставить себя говорить о «Мусорной ДНК», но и Вайолет Мосалу упоминать боялся – еще выяснится, что мой доктор знает об успехах ТВ больше моего. Страх этот возник не на пустом месте: Элис читает все.

Я сказал:

– Да ничего. Отдыхаю.

Она снова взглянула на экран, где были данные из моего фармаблока.

– Очень хорошо. Только не отдыхайте слишком сильно.

Я почувствовал себя полным идиотом, попавшись на явной лжи, но стоило выйти из кабинета, и это потеряло значение. На асфальте лежала кружевная тень, с юга дул прохладный ветерок. «Мусорная ДНК» закончена, мне было легко, как будто я только что вылечился от опасной болезни. Иппинг – тихий загородный центр: здесь есть поликлиника, зубной врач, маленький супермаркет, цветочный магазин, парикмахерская и два ресторана (неэкспериментальных). Никаких Развалин: пятнадцать лет назад коммерческий сектор снесли бульдозером и засадили биоинженерным лесом. Никаких световых табло (хотя их с успехом

заменяют рекламные майки). В редкие воскресные вечера, когда я бываю свободен, мы Джинной бродим здесь без всякого дела, сидим у фонтана. Когда я вернусь из Безгосударства и у меня останется восемь месяцев на монтаж «Вайолет Мосалы», таких вечеров будет много, много больше.

Когда я открыл входную дверь, Джина стояла в прихожей, как будто ждала. Она была взволнована. Расстроена. Я шагнул к ней:

– Что стряслось?

Она отпрянула, подняла руки, словно защищаясь от нападения.

– Понимаю, Эндрю, сейчас не время. Но я терпела...

В конце прихожей стояли три чемодана.

– Что происходит?

– Не сердись.

– Я не сержусь, – (Это была правда.) – Просто не понимаю.

Джина сказала:

– Я дала тебе все шансы исправить положение. А ты продолжал в том же духе, словно ничего не изменилось.

Что-то случилось с моим чувством равновесия: почудилось, что меня качает, хотя я стоял совершенно ровно. Джина выглядела совсем убитой. Я протянул к ней руки, словно мог утешить.

– Почему ты не говорила, что я тебя обидел?

– Надо было говорить? Ты слепой?

– Наверное.

– Ты не ребенок. И не дурак.

– Я честно не знаю, что должен был делать.

Она горько рассмеялась.

– Конечно, не знаешь. Ты просто начал относиться ко мне как... к тягостному обязательству. В чем же тебе себя винить?

Я повторил:

– Начал относиться как... Когда? Ты про последние три недели? Ты же знаешь, что бывает, когда я монтирую. Я думал...

Джина заорала:

– Я не про твою долбаную работу!

Мне захотелось сесть на пол, чтобы прийти в себя; но я побоялся, что меня неправильно поймут.

Она произнесла холодно:

– Не загораживай дверь. Мне страшно.

– Что я, по-твоему, сделаю? Посажу тебя под замок?

Она не ответила. Я протиснулся мимо нее в кухню. Она повернулась и стала в дверном проеме, лицом ко мне. Я не знал, что говорить. С чего начать.

– Я люблю тебя.

– Предупреждаю, не заводись.

– Если я наделал глупостей, дай мне возможность исправиться. Я постараюсь...

– Самое ужасное – это когда ты стараешься. У тебя на роже написано, как тебе тяжело.

– Мне всегда казалось, что я...

Ее глаза смотрели на меня: темные, выразительные, невысказанно прекрасные. Даже сейчас они пронзали насквозь, мешали думать, чувствовать, превращали меня в беспомощного, растерянного ребенка. Но ведь я всегда был начеку, всегда обращал внимание. Как это могло случиться? Когда я недосмотрел, где? Мне хотелось спросить место и точное время.

Джина отвела взгляд.

– Теперь поздно что-либо менять. Я познакомилась с другим. Уже три месяца с ним встречаюсь. Если ты и этого не заметил... то как тебе еще намекать? Привести его домой и трахнуть у тебя на глазах?

Я закрыл глаза. Мне не хотелось слышать этого шума, который только все усложняет. Я проговорил медленно:

– Мне все равно, кто у тебя был. Мы можем...

Она сделала шаг ко мне и заорала:

– Мне – не все равно! Эгоист! Придурок! Мне – не все равно!

По лицу ее бежали слезы. Я силился хоть что-то понять, но по-прежнему хотел одного: прижать ее к себе. Я никак не мог поверить, что сделал ей больно.

Она сказала с презрением:

– Погляди на себя! Я, я минуту назад сказала тебе, что трахаюсь с другим! Я ухожу! И все равно мне в тысячу раз больнее, чем тебе...

Наверное, я действовал сознательно, наверное, я все продумал, но не помню, как шагнул к раковине, как схватил нож, не помню, как расстегнул рубашку. Помню только, что стоял в дверях кухни и полосовал ножом живот, приговаривая:

– Ты хотела шрамов. Вот тебе шрамы.

Джина бросилась на меня, повалила. Я отпихнул нож под стол. Раньше, чем я успел подняться, она плюхнулась мне на грудь и принялась лупить по щекам. Она вопила:

– Думаешь, это больно? Думаешь, это одно и то же? Ты не видишь разницы, да? Да?

Я лежал на полу и смотрел в сторону, а она молотила меня по щекам и плечам. Я ничего не чувствовал, просто ждал, когда это кончится, но, едва она встала и, шмыгая носом, направилась к выходу, мне захотелось ударить ее наотмашь.

Я сказал спокойно:

– А чего ты ждала? Я не могу плакать по заказу, как ты. Пролактиновый уровень не тот.

Она тащила чемоданы. Я представил себе, как встаю, иду за ней, предлагаю понести вещи, устраиваю сцену. Однако жажда мести уже угасла. Я люблю ее, хочу, чтобы она вернулась... и, что бы я ни сделал, я только растравлю ее боль.

Входная дверь хлопнула.

Я съежился на полу. Кровь хлестала. Я стиснул зубы, не столько от боли, сколько от запаха, от беспомощности; однако я знал, что порезался не глубоко. Я не обезумел от ревности и гнева, не рассек артерию; я всегда точно знаю, что делаю.

Может, мне следует этого стыдиться? Стыдиться, что не переломал мебель, не вспорол себе живот, не попытался убить Джину? Я по-прежнему чувствовал ее презрение.

Может быть, я не понимал ее мыслей, но сейчас, когда она толкнула меня на пол, явственно почувствовал одно: из-за того, что я не поддался эмоциям до конца, не потерял контроль... в ее глазах я не вполне человек.

Я замотал порезы полотенцем и объяснил фармаблоку, что случилось. Несколько минут он гудел, потом выдавил пасту из антибиотиков, коагулянтов и чего-то вроде клея. Мазь засохла на коже, как тугая повязка.

У фармаблока нет глаз, но я стоял у микрофона и рассказывал, что получается.

Он сказал:

– Избегай тужиться. И постарайся громко не смеяться.

8

Анжело объявил скорбно:

– Я с поручением.

– Тогда не стой на пороге.

Он прошел за мной в прихожую, оттуда в гостиную. Я спросил:

– Как девочки?

– Отлично. Совсем нас вымотали.

Марии исполнилось три, Луизе – два. Анжело и Лиза работают на дому (в звуконепропускаемом кабинете), а детей пасут посменно. Анжело – математик в сетевом, номинально канадском, университете; Лиза – специалист по химии полимеров в голландской компании.

Мы дружим с университета, однако с его сестрой я познакомился уже после рождения Луизы. Джина навещала молодую мать в роддоме, я влюбился в нее с первого взгляда, в лифте, еще не зная, кто это.

Анжело сел и сказал осторожно:

– По-моему, она просто хотела узнать, как ты.

– Я оставил ей десять сообщений за десять дней. Она отлично знает, как я.

– Она говорит, ты внезапно замолчал.

– Внезапно?! Десять актов ритуального самоуничтожения за десять дней, без всякого ответа – большего она не дожидается, – Я не хотел выказывать горечь, но у Анжело на лице уже появилось выражение заблудившегося на поле боя мирного посланца. Я рассмеялся, – Скажи ей, что ей хочется услышать. Скажи, я опустошен, однако быстро прихожу в себя. Чтобы она не обиделась, но и виноватой себя не чувствовала.

Анжело неуверенно улыбнулся, словно я отпустил плоскую шутку.

– Она сильно переживает.

Я сжал кулаки и произнес медленно:

– Знаю. Я тоже переживаю, но не думаю, что ей будет лучше, если ты скажешь... – Я оборвал фразу, – Что она просила передать, если я спрошу, есть ли надежда на ее возвращение?

– Просила сказать «нет».

– Конечно. Но... искренне ли она говорила? Что просила сказать, если я спрошу, искренне ли это?

– Эндрю...

– Забудь.

Наступило долгое, неловкое молчание. Я подумал было спросить, где она, с кем, но понимал, что Анжело не ответит. Да и незачем мне знать.

Я сказал:

– Завтра я должен лететь в Безгосударство.

– Да, я слышал. Удачи.

– Другая журналистка охотно полетела бы вместо меня. Достаточно позвонить...

Он покачал головой.

– Без толку. Ничего не изменится.

Опять молчание. Потом Анжело сунул руку в карман и вытащил пластмассовую трубочку с таблетками.

– У меня с собой Д.

Я взвыл.

– Ты никогда не принимал эту гадость.

Он обиделся.

– Да они безвредные. Хочется иногда расслабиться. Чего тут плохого?

– Ничего.

Дезингибиторы безвредны и не вызывают привыкания. Они создают легкое ощущение благополучия и немного нарушают связность мыслей – как умеренная доза алкоголя или марихуаны, но почти без побочных эффектов. Их концентрация в крови саморегулируется: выше некоего уровня молекулы катализируют собственное разрушение, поэтому что одна Д, что пузырек – разницы никакой.

Анжело протянул мне трубочку. Я неохотно взял таблетку и зажал в ладони.

Алкоголь в приличном обществе перестали употреблять, когда мне было десять, однако о «социальной смазке» вздыхают до сих пор, осуждая лишь вызываемые этиловым спиртом органические расстройства да его способность ударять в голову, провоцируя насилие. По мне же, сменившая его волшебная пилюля только обнажила проблему. Цирроз, мозговые болезни, некоторые виды рака, самые страшные дорожные аварии, пьяные преступления – все это благополучно отошло в прошлое; но я по-прежнему не верю, что нормальное общение или отдых невозможны без помощи психоактивных средств.

Анжело проглотил таблетку и сказал укоризненно:

– Давай, она тебя не убьет. Все известные человеческие культуры использовали то или иное...

Я притворился, будто закидываю таблетку в рот, а на самом деле оставил ее в ладони. К чертям все известные человеческие культуры. На мгновение я устыдился своего обмана, но отнекиваться не было сил. И потом, я ведь из лучших побуждений. Легко представить, как Джина говорит брату: «Дай ему Д, не то он будет отмалчиваться». Она послала Анжело в надежде, что я выговорюсь, поплачусь ему в жилетку и таким образом вылечусь. Очень трогательно с их стороны, и в благодарность я могу хотя бы частично избавить Анжело от необходимости лгать, убеждая Джину в успехе ее затеи.

Глаза у Анжело немного заблестели: таблетка заблокировала часть нервных путей в его мозгу. Мне подумалось, что Джеймс Рурк мог бы добавить к своему списку Ч-слов третье: честность. Фрейд удружил западной цивилизации нелепой уверенностью, будто самые случайные оговорки – самые правдивые, что обдумывание не добавляет ничего, а это только цензурирует и лжет. Исходил он больше из соображений собственного удобства: сперва нашел область сознания, которую проще всего обойти всякими фокусами вроде свободных ассоциаций, а потом объявил остальные «честными».

Однако теперь, когда мои слова санкционированы химией и будут восприняты всерьез, можно переходить к делу.

– Слушай, скажи Джине: я оклемаюсь. Мне жаль, что я ее обидел. Знаю, я – эгоист. Постараюсь исправиться. Я по-прежнему ее люблю... хотя понимаю, что все кончено.

Я попытался придумать что-нибудь еще, но это было все, что ей следовало услышать.

Анжело важно кивнул, как будто я сказал что-то новое и глубокомысленное.

– Никогда не понимал, почему у тебя не складывается личная жизнь. Думал, тебе просто не везет. Но твоя правда: ты – паршивый эгоист, только свою работу и любишь.

– Все верно.

– И что будешь делать? Найдешь другую работу?

– Нет. Буду жить один.

Он скривился.

– Но это еще хуже. Эгоизм в квадрате.

Я рассмеялся.

– Вот как? Почему же?

– Потому что даже не пытаешься!

– Зачем пытаться за счет других? Может, я устал делать людям больно и решил больше к этому не возвращаться?

Такая простая мысль поставила его в тупик. Он поздно начал принимать Д; видимо, таблетки действуют на него сильнее, чем на тех, кто еще в юности притупил восприимчивость.

Я сказал:

– Я честно думал, что могу сделать другого человека счастливым. И себя тоже. Но после шести попыток можно считать доказанным, что это не так. Вот я и принес клятву Гиппократу: не навреди. Что тут дурного?

Анжело взглянул с сомнением:

– Не поверю, что ты заживешь монахом.

– Выбери что-нибудь одно. То я у тебя эгоист, то аскет. Надеюсь, ты не сомневаешься в моих умелых руках.

– Не сомневаюсь, но сексуальные фантазии плохи одним: после них еще больше хочется настоящего.

Я пожал плечами:

– Стану мозговым асексуалом.

– Очень смешно.

– Да, всегда есть последний выход.

Меня уже мучило от идиотского ритуала, но, если выставить Анжело слишком рано, есть опасность, что Джина не испытает полного катарсиса. Дело не в подробностях, их ему разрешат оставить при себе, главное, чтобы он, не краснея, доложил, что мы изливали друг другу душу до первых петухов.

Я напомнил:

– Ты всегда утверждал, что не женишься. Моногамия для слабых. Случайные связи честнее и лучше для обеих сторон...

Анжело хохотнул, потом стиснул зубы.

– Я говорил это в девятнадцать. Что бы ты сказал, если б я откопал несколько твоих замечательных фильмов того же периода?

– Если у тебя есть копии, назови цену.

Трудно поверить, но я потратил четыре года жизни – и тысячи долларов от разнообразных приработков – на пяток бесконечно претенциозных экспериментальных драм. Моя подводная бутто-версия «В ожидании Годо» – вероятно, жутчайшее порождение эпохи цифрового видео.

Анжело задумчиво смотрел в ковер.

– Я действительно так думал. Всегда. Сама мысль о семье... – Он поежился, – Мне казалось, это все равно, что похоронить себя заживо. Я думал, хуже не бывает.

– Значит, ты повзрослел. Поздравляю.

Он рассердился.

– Нечего зубоскалить.

– Извини.

Он явно не шутил. Я задел больное место.

Он сказал:

– Никто не взрослеет. Это подлая ложь. Люди меняются. Идут на компромиссы. Запутываются в ситуациях, в которые не собирались попадать. Худо-бедно притираются. Только не говори, что это некое предопределенное вхождение в «эмоциональную зрелость». Близко не лежало.

Я смутился.

– Что-то не так? У тебя с Лизой?

Он виновато помотал головой.

– Нет. Все замечательно. Жизнь прекрасна. Я люблю их. Но... – Он отвел глаза, напрягся всем телом, – Только потому, что иначе сойду с ума. Только потому, что должен это вытянуть.

– Так ты и вытягиваешь.

– Да! – Он скривился, бесясь, что я не понимаю, – Это даже уже не трудно. Все идет по инерции. Но... я думал, это будет лучше. Я думал, когда переходишь от одной системы ценностей к другой, это потому, что научился чему-то новому, что-то осмыслил. Ничего подобного. Я просто дорожу тем, во что влип. Вот и вся история. Люди делают добродетельные вещи из неизбежности. Они обожествляют то, от чего не могут избавиться. Я действительно люблю Лизу, действительно люблю девочек... но лишь потому, что не пришел ни к чему лучшему. Я не могу оспорить ничего из того, что говорил в девятнадцать, потому что не перерос эти взгляды. Не набрался ума. Вот что меня злит: все долбаное вранье, которым нас пичкали, о «взрослении» и «зрелости». Никто не признается честно, что «любовь», «самоотречение» – просто слова, чтобы не рехнуться, когда припрешь себя к очередной стенке.

Я сказал:

– Надо ж так накачаться. Надеюсь, ты не принимаешь Д в гостях.

Он сперва обиделся, потом понял: я обещаю держать язык за зубами. Не стану припоминать ему теперешние слова, когда он протрезвеет.

Без чего-то двенадцать я проводил его на вокзал. Дул теплый ветер, на небе сияли звезды.

– Удачно тебе слетать.

– Удачно тебе доложиться.

– Ага. Я скажу Джине, что... – Он нахмурился, словно склеротик.

– Что-нибудь придумаешь.

– Ага.

Я следил глазами за уходящим поездом и думал: Джина и впрямь мне помогла. Я и впрямь на какое-то время забыл о нас двоих. Она выкарабкается. И я выкарабкаюсь. Завтра я буду на острове в Тихом океане, буду с наглой рожей притворяться, будто знаю что-то о Вайолет Мосале.

Припертый к очередной стенке.

Чего еще можно желать?

Часть вторая

9

Живой искусственный остров Безгосударства плавает над безымянным гайотом – размытым потухшим вулканом, подводной столовой горой, затерянной в просторах Тихого океана. Он лежит на тридцать второй широте, южнее рыболовной зоны полинезийских народов, в ничейных международных водах (если отбросить смехотворные претензии самовольных антарктических поселенцев). Кажется, что это страшная даль, но от Сиднея до Безгосударства всего четыре тысячи километров – меньше двух часов лету, если бы существовал прямой рейс.

Я сидел в транзитном зале Пномпеня и пытался размять затекшую шею. Из кондиционера шел ледяной воздух, и все равно в помещении парило. Я подумал было выйти в город, которого прежде не видел, но до самолета оставалось сорок минут, и половина этого времени ушла бы на получение визы.

Не понимаю, почему австралийское правительство так ревностно бойкотирует Безгосударство. Вот уже двадцать три года один министр иностранных дел за другим обличает его «дестабилизирующее влияние на регион», хотя на самом деле Безгосударство как раз и снимает напряжение, принимая больше беженцев от парникового эффекта, чем любая другая страна в мире. Да, создатели Безгосударства нарушили уйму международных законов, пиратским образом использовали тысячи патентованных ДНК... Однако Австралии не мешало бы вспомнить, с чего начиналась она сама: с захвата земель и уничтожения коренных жителей. (Не прошло и двухсот пятидесяти лет, как правительство заключило с аборигенами договор и стыдливо покаялось.)

Ясно, что Безгосударство подвергается остракизму по чисто политическим соображениям. Однако ни одно правительство не сочло нужным объяснить, по каким именно.

Итак, я сидел в транзитном зале, задубевший от четырехчасового полета в обратном направлении, и перечитывал урок физики, подготовленный мне **Сизифом**. В первый раз я пропустил некоторые куски, и устройство, с досадной безошибочностью следящее за движением зрачков, выделило их укоризненным голубым.

По крайней мере две противоречивые обобщенные меры могут быть приложены к T , пространству всех счетномерных топологических пространств. Мера Перрини [Perrini, 2012] и мера Сом [Saure, 2017] определены для всех ограниченных подмножеств T и эквивалентны применительно к M – пространству n -мерных паракомпактных хаусдорфовых многообразий, однако дают взаимоисключающие результаты для множеств более экзотических пространств. До сих пор неясно, имеет ли это расхождение физический смысл, и если да, то какой...

Я не смог сосредоточиться и бросил это дело, закрыл глаза и постарался заснуть, однако сон не шел. Я выкинул все из головы и сделал попытку расслабиться. Почти сразу ноутпад запищал и объявил посадку на Дили, поймав инфракрасный сигнал от системы оповещения за несколько секунд до того, как репродуктор в зале объявил то же на нескольких языках. Я побрел к раме металлоискателя и, проходя в нее, вспомнил манчестерский сканер, читающий в мозгу стихотворные строчки. Наверняка через двадцать лет намерения безоружных террористов будут выявлять так же легко, как сейчас – нож или взрывчатку. Мой паспортный файл включает подробное описание моей подозрительной начинки, удостоверяющее, что я не камикадзе с бомбой в животе. Возможно, люди, одержимые странными

фантазиями впасть в приступ бешенства на высоте двадцать тысяч метров, должны будут со временем предъявлять похожий сертификат безвредности.

Из Камбоджи нет рейсов в Безгосударство. Китай, Япония и Корея поддерживают бойкот, и Камбоджа не захотела сердить главных торговых партнеров. Как и Австралия – но та преследует «анархистов» куда более рьяно, чем требует политическая целесообразность. Однако из Пномпеня самолеты летают в Дили, а оттуда я уже смогу добраться до места.

Понятно, прямой рейс Сидней – Дили невозможен. Когда в 1976 году Индонезия аннексировала Восточный Тимор, она поделилась добычей – тиморской нефтью – с молчаливой сообщницей, Австралией. В 2036-м, после того как были истреблены полмиллиона восточных тиморцев, а нефтяные скважины потеряли прежнее значение (биоинженерные водоросли производят углеводороды любого размера и формы из солнечного света, по цене в десять раз меньше молока), индонезийское правительство под давлением больше собственных граждан, чем кого-либо из союзников, крайне неохотно предоставило автономию провинции Тимор-Тимур. Формальная независимость была провозглашена в 2040-м, однако и сейчас, одиннадцать лет спустя, выдвигаются судебные иски по поводу украденной нефти.

Я прошел сквозь кишку и сел. Через несколько минут на соседнее кресло опустилась женщина в ярком красном саронге и белой блузке. Мы обменялись кивками и улыбками.

Она вздохнула:

– Не представляете, сколько мороки мне пришлось вытерпеть. Раз в кои-то веки мои решили устроить живую конференцию – и выбрали для этого место, куда почти невозможно добраться.

– Вы про Безгосударство?

Она взглянула сочувственно:

– Вам туда же?

Я кивнул.

– Бедняга. Откуда вы?

– Из Сиднея.

Я определил ее акцент как бомбейский, однако она сказала:

– А я – из Куала-Лумпура. Значит, вам пришлось еще хуже. Меня зовут Индрани Ли.

– Эндрю Уорт.

Мы обменялись рукопожатиями.

– Конечно, я сама доклад не делаю. И на следующий день после конференции все будет в сетях в прямом доступе. Но, если не побывать там, пропустишь все сплетни, правда? – Она заговорщицки улыбнулась, – Всем страшно охота поговорить напрямую, без записи и без посторонних ушей. К личной встрече они будут готовы выложить все секреты в ближайшие пять минут. Как по-вашему?

– Надеюсь, что так. Я журналист – освещаю конференцию для ЗРИнет.

Рискованное признание, но не прикидываться же специалистом по ТВ.

Ли не выказала отвращения. Самолет начал почти вертикальный взлет. Я сидел в дешевом центральном ряду, но все происходящее появлялось на экране: я видел уменьшающийся Пномпень, поразительную мешанину стилей, от увитых зеленью каменных храмов (подлинных и новодельных), обветшалых французских колониальных строений (та же картина) до сверкающей черной керамики. На экране у Ли начался фильм: действия в случае аварии; я в последнее время много летал на таких же самолетах, так что мне сделали исключение.

Когда фильм закончился, я спросил:

– Можно полюбопытствовать, чем именно вы занимаетесь? Очевидно, ТВ, но каким подходом?

– Я не физик. Моя деятельность ближе к вашей.

– Вы – журналист?

– Социолог. Если хотите полностью, моя специальность – динамика современной мысли. Так что, если физика скончается, я должна видеть это своими глазами.

– Вы хотите быть на месте, чтобы напомнить физикам, что они «всего лишь жрецы и сказочники»?

Я шутил, стараясь подстроиться под ее ироничный тон, однако слова прозвучали обвинением.

Она взглянула укоризненно.

– Я не принадлежу к Культуре невежества. И, боюсь, вы на двадцать лет отстали от жизни, если полагаете, будто социология – рассадник всяких «Смирись, наука!» или «Мистического возрождения». Такие взгляды – удел историков, – Лицо ее смягчилось, – Однако на нас по-прежнему вешают всех собак. Не поверите: медики до сих пор тычут мне в лицо парой плохо сделанных исследований 80-х годов прошлого века, как будто я должна за них отвечать.

Я извинился; она махнула рукой. Автоматическая тележка предложила нам еду и напитки. Я отказался. Глупо, но первый отрезок зигзагообразного полета к Безгосударству вымотал меня сильнее, чем беспосадочный рейс через весь Тихий океан.

Пышные вьетнамские джунгли сменились серой водной рябью, мы перекинулись несколькими вежливыми фразами о красотах природы и еще раз посочувствовали друг другу, что так трудно попасть на конференцию. Я кроме шуток заинтересовался специальностью Ли и наконец набрался смелости вновь затронуть эту тему:

– Почему вам так интересно изучать физиков? Я хочу сказать, если б вас привлекала сама наука, вы бы стали физиком. Не стояли бы у них за спиной и не наблюдали.

Она недоверчиво тряхнула головой:

– А вы разве не этим будете заниматься в ближайшие две недели?

– Этим, но моя работа отличается от вашей. В конечном счете, я – просто передаточное звено.

Она взглянула, словно говоря: «На это я отвечу позже».

– Физики собираются на конференцию, чтобы добиться прогресса в ТВ, верно? Отбросить плохие теории, отшлифовать хорошие. Их волнует итог: работающая теория, объясняющая современные данные. Это их работа, их призвание. Согласны?

– Более или менее.

– Конечно, они знают, чем заняты, кроме собственно математики: передачей идей, утаиванием идей, взаимопомощью, подсиживанием. Они не могут не видеть, что существуют группировки, политика, блат, – Она невинно улыбнулась, – Я употребляю эти слова не в уничижительном смысле. Нельзя сказать, что физика «развенчала себя», как утверждают некоторые секты вроде «Приоритета культуры» из-за того, что в ее истории случались такие заурядные вещи, как кумовство, ревность, а изредка и рукоприкладство.

Однако не приходится ждать, что сами физики напишут об этом для потомков. Они заняты тем, что шлифуют и оттачивают свои теориейки, а потом рассказывают короткую элегантную ложь об озарениях. Тут нет ничего дурного. И в некотором смысле это даже безразлично: науку можно изучать, не вникая в тонкости ее человеческого происхождения. Однако моя работа – по возможности совать нос в реальную историю. Не для того, чтоб «свести физику с пьедестала». То, чем я занимаюсь, – самостоятельная научная дисциплина. И, – добавила она с шутливой укоризной, – не думайте, что мы по-прежнему умираем от зависти к точным наукам с их уравнениями. Мы вот-вот переплюнем всех остальных. Физики объединяют свои уравнения или отказываются от них. Мы плодим новые.

Я сказал:

– А как бы вам понравилось, если б у вас за спиной стоял метасоциолог, заглядывал через плечо и записывал ваши повседневные дразги? Не позволял бы отделаться элегантною ложью?

Ли неуверенно призналась:

– Разумеется, не понравилось бы. И я бы постаралась как можно больше скрыть. Но в этом и есть спортивный интерес, верно? Физикам легче – не со мной, а с их предметом. Вселенная не может ничего скрыть: забудьте всякую антропоморфистскую викторианскую чушь насчет ученых, которые якобы «выпытывают у Природы ее секреты». Вселенная не умеет лгать, она просто существует, и все. Иное дело люди. Больше всего времени, умения и энергии мы тратим на то, чтобы скрыть истину.

Восточный Тимор с воздуха – лоскутное одеяло полей вдоль побережья, переходящее в природные джунгли и саванны нагорий. От вершин поднимались дымки, но черные булавочные уколы под ними казались крошечными в сравнении со шрамами древних открытых разработок. Пока самолет заходил на посадку, на экранах промелькнули сотни деревушек.

У полей не было характерной фирменной окраски (а тем более логотипов, свойственных четвертому поколению биотехнологической продукции); похоже, фермеры устояли перед соблазном пиратства и возделывают лишь старые, непатентованные культуры. Экспорт питания давно себя изжил, даже сверхурбанизированная Япония легко кормит свое население. За самообеспечение продолжают бороться лишь беднейшие страны, неспособные закупить лицензии на производство синтетической пищи. Восточный Тимор ввозит продукты из Индонезии.

В первом часу дня мы сели в крохотной столице. Кишки не было, мы прошли по раскаленному бетону. Мелатониновый пластырь на плече, заранее спrogramмированный фармаб-локом, безжалостно подстроил мой организм под время Безгосударства (на два часа раньше сиднейского), однако в Дили оно смещено на два часа в другую сторону. Впервые в жизни я почувствовал сбой и, ошарашенно глядя на сверкающее полуденное солнце, подумал, как же здорово обычно работает пластырь, ведь я совершенно не ощущаю временного сдвига после перелета во Франкфурт или Лос-Анджелес. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы в этом нелепом путешествии мои внутренние часы всякий раз покорно перестраивались на местное время? Хуже, лучше... или до безобразия нормально, поскольку восприятие времени свелось бы к простейшему биохимическому феномену?

Одноэтажное здание аэропорта было переполнено – столько провожающих, встречающих, пассажиров я не видел ни в Бомбее, ни в Шанхае, ни в Мехико, столько служащих в форме – ни в одном аэропорту мира. Я стоял за Индрани Ли в очереди – уплатить двести долларов транзитного сбора за практически единственный путь в Безгосударство. Чистый грабеж, но их можно понять. Как еще карликовая страна наберет валюты для закупки продовольствия? **Я** нажал несколько кнопок на ноутпаде, и **Сизиф** ответил: почти никак.

Восточный Тимор не владеет запасами тех немногих руд, которые еще нужны человечеству (большую часть металлов получают при переработке отходов), а все, что могло бы пригодиться местной промышленности, давным-давно разграблено. Торговля туземным сандалом запрещена международным законодательством, да и биоинженерные плантации дают более дешевую, более качественную древесину. В тот недолгий период, когда казалось, что народное сопротивление окончательно подавлено, два-три электронных гиганта построили тут сборочные цеха, но и они закрылись в двадцатых, когда оказалось, что автоматическая сборка дешевле самого рабского труда. Остались туризм и культура. Но сколько отелей можно заполнить? (Два маленьких, триста мест на круг.) А сколько человек могут работать в международных сетях писателями, музыкантами, художниками? (Четыреста семь.)

Теоретически, Безгосударство сталкивается с теми же основными проблемами. Однако Безгосударство изначально было пиратским – оно и выстроено с помощью нелицензионной биотехнологии. Там не голодает никто.

Наверное, я и впрямь одурел от сдвига во времени, потому что лишь сейчас сообразил: большинство людей в аэропорту никого не встречает и не провожает. То, что я принял

за багаж и сувениры, оказалось товаром. Это были торговцы и покупатели: туристы, пассажиры, местные. В уголке виднелись несколько убогих аэропортовских магазинчиков, однако все здание явно использовалось как базар.

Стоя в очереди, я прикрыл веки и вызвал **Очевидца**: последовательность движений глазного яблока пробуждает дремлющую в животе программу, та генерирует образ контрольной панели и выводит на мой оптический нерв. Я взглянул на окошко МЕСТО, там еще стояло СИДНЕЙ. Надпись замигала, я пробежал глазами по клавиатуре и ввел ДИЛИ. Потом взглянул на пункт меню НАЧАТЬ СЪЕМКУ, выделил его и открыл глаза.

Очевидец подтвердил: «Дили, воскресенье, 4 апреля, 2055. 4:34:17 по Гринвичу». Бил.

Транзитный сбор взимали таможенники, и у них, похоже, сломался компьютер. Вместо того чтобы снять инфракрасный сигнал с наших ноутбуков, они дали нам заполнить бланки, проверили наши бумажные удостоверения личности и выдали каждому по картонному пропуску на посадку со штампом, сделанным резиновой печатью. Я почти ожидал каких-нибудь придираков, но таможенница, женщина с приятным голосом и папуасской шевелюрой под форменным кепи, улыбнулась терпеливой улыбкой и быстро проглядела мои бумаги.

Я походил по аэропорту, ничего не покупая, только снимая для своего архива. Вокруг кричали и торговались на португальском, индонезийском, английском и, если верить **Сизифу**, на постепенно возрождаемых местных диалектах – тетуме и вайкено. Кондиционеры, может быть, и работали, но толпа сводила их усилия на нет; через пять минут я уже обливался потом.

Торговцы продавали коврики, майки, ананасы, картины, статуэтки святых. Я прошел мимо лотка с вяленой рыбой и еле поборол тошноту; запах еще можно было бы снести, но меня всегда мутит от зрелища мертвых животных, предназначенных в пищу, больше даже, чем от вида человеческих трупов. Биоинженерные растения по питательности не уступают мясу, а частенько и превосходят; в Австралии еще немного торгуют убоиной, но не на виду и в менее вызывающей форме.

Я увидел вешалку с куртками якобы от Мазарини, по цене в десять раз меньшей, чем они стоили бы в Нью-Йорке или Сиднее. Я поднял ноутпад: он отыскал мой размер, проверил электронную нашивку на воротнике и одобрительно загудел, но у меня оставались сомнения. Я спросил подростка, который стоял у вешалки: «Нашивки и впрямь настоящие или?..» Тот невинно улыбнулся и промолчал. Я купил куртку, оторвал нашивку с микросхемой и вернул продавцу.

– На, еще раз пустишь в дело.

Возле лотка с программами я наткнулся на Индрани Ли. Она сказала:

– Кажется, я вижу еще одну участницу конференции.

– Где?

На мгновение я перепугался: если это Вайолет Мосала, я еще не готов с ней разговаривать.

Ли указала глазами на пожилую белую женщину, которая увлеченно торговалась с продавцом платков. Лицо показалось мне знакомым, но в профиль я ее не узнал.

– Кто это?

– Дженет Уолш.

– Шутите.

Однако это была она.

Дженет Уолш – английская писательница, букеровская лауреатка и активистка движения «Смирись, наука!». Она прославилась в двадцатых «Крыльями страсти» («дивная, дерзкая, ехидная сказка» – «Санди таймс»). Действие происходит на «другой планете», обитатели которой во всем похожи на людей, только мужчины у них рождаются с большими бабочкиными крыльями на пенисе. Когда они теряют невинность, крылья отрываются с кро-

вью. Инопланетные женщины (у которых нет девственной плевы) все до единой похотливы и жестоки. На протяжении романа героя обижает и насилует кто ни попадя, а в конце он изобретает волшебный способ заново отрастить утраченные крылья (уже на плечах) и улетает в закат. («Все стереотипы межгендерных отношений перевернуты вверх тормашками» – «Плейбой».)

С тех пор Уолш занята тем, что обличает пороки «мужской науки» (!): трудноопределимого, однако безусловно вредного рода занятий, которому предаются даже некоторые вконец оболваненные женщины, что, впрочем, не повод менять ярлык. В «Половом переборе» я цитировал одно из самых сильных ее высказываний. «Она высокомерна, нагла, подавляет, упрощает, эксплуатирует, духовно обедняет и обесчеловечивает – как же ее называть, если не мужской?»

Я спросил:

– Зачем ее сюда понесло?

– Вы не слыхали? Хотя, вероятно, вы были уже в дороге; я прочла в сети перед самым отлетом. Одна из крупнейших сетей послала ее специальным корреспондентом на эйнштейновскую конференцию. Кажется, «Новости планеты».

– Дженет Уолш будет освещать успехи теории всего? Это что-то запредельное, даже для «Невесты что планеты». Тогда пусть члены британской королевской семьи снимают репортажи о голоде, а звезды мыльных опер – о совещаниях в верхах.

Ли сказала сухо:

– Боюсь, «освещать» – несколько не то слово.

Я замялся.

– Можно задать вопрос? У меня... у меня не было времени взглянуть, как культисты реагируют на конференцию. – (**Сизиф** подберет любой материал, но мне хотелось услышать выжимку.) – Вряд ли вы слышали, насколько они заинтересовались?

Ли взглянула изумленно.

– На прошлой недели они фрахтовали чартерные рейсы по всей планете. Если Уолш добирается с пересадками и в последнюю минуту, то лишь ради своего нанимателя – чтобы выглядеть почтенной и непредубежденной. В Безгосударстве будет не продохнуть от ее почитателей, – Она добавила весело: – Дженет Уолш! Только ради этого стоило проделать долгий путь.

Мне показалось, будто меня ударили под дых.

– Вы говорили, что не...

Она широко улыбнулась.

– Я радуюсь не потому, что поддерживаю ее. Дженет Уолш – мое хобби. Днем я изучаю рационалистов. Ночью – их противоположность.

– Очень... по-манихейски.

Уолш купила платок и пошла прочь от лотка, почти в нашу сторону. Я отвернулся, чтобы она меня не узнала. Мы встретились: в Замбии, на конференции по биоэтике. Мало-приятное воспоминание. Я тихо хохотнул:

– Значит, у вас будет идеальный рабочий отпуск?

Ли улыбнулась:

– И у вас, надо полагать? Полагаю, вы горячо мечтаете снять еще что-нибудь, кроме сонных семинаров. Теперь у нас будет Вайолет Мосала против Дженет Уолш. Физика против Культур невежества. Может быть, даже уличные беспорядки: в Безгосударство наконец-то пришла анархия. Чего еще желать?

Старательно огибая австралийское, индонезийское и папуа-новогвинейское воздушное пространство, зарегистрированный в Португалии самолет летел над Индийским океа-

ном в юго-западном направлении. Вода казалась бурной, сине-серой, опасной, хотя небо над нами сияло голубизной. Мы прошли по дуге вокруг Австралии и не увидим земли уже до посадки.

Двое пожилых хорошо одетых полинезийцев рядом со мной громко и безостановочно болтали по-французски. К счастью, я не понимал их диалекта и поэтому мог абстрагироваться; самолетные наушники не предлагали ничего хорошего, а выключенные – плохо заменяли беруши.

Сизиф мог бы подключиться к сети через инфракрасный порт и спутниковую связь самолета. Я подумал было запросить сведения о присутствии культистов в Безгосударстве. Однако я так и так скоро там окажусь; чистый мазохизм – предвосхищать события. Я заставил себя сосредоточиться на все-топологической модели.

Основное положение ВТМ формулируется просто: Вселенная, на глубинном уровне, является смесью всех математически возможных топологий.

Даже старая квантовая теория гравитации рассматривала «вакуум» пустого пространства-времени как кишение возникающих и исчезающих виртуальных «кротовин». Видимая непрерывность макроскопических расстояний и человеческих временных масштабов возникает как усреднение скрытой сложности. Возьмем для сравнения обычное вещество: глаз не различает в гибкой пластмассовой пластинке ее микроструктуры – молекул, атомов, электронов и кварков, однако, зная эту структуру, можно рассчитать свойства материала, например упругость. Пространство-время состоит не из атомов, однако и его свойства можно понять, представив себе иерархию еще более сложных отклонений от видимых непрерывности и плавного искривления. Теория квантовой гравитации объясняет, почему наблюдаемое пространство-время, пронизанное бесчисленным количеством изгибов и узлов, ведет себя в присутствии массы (или энергии) именно так: изгибается в той мере, чтобы породить гравитационную силу.

Разработчики ТВ пытаются обобщить этот результат: представить относительно ровное десятимерное «тотальное пространство» стандартной объединенной теории поля (свойства которого отвечают за все четыре вида взаимодействия: сильное, слабое, гравитационное и электромагнитное) как итог взаимного наложения бесконечного количества сложных геометрических структур.

Девять пространственных измерений (из них шесть свернутых) и одно временное – это лишь то, что мы видим, когда не вглядываемся слишком пристально. При взаимодействии двух субатомных частиц всегда есть вероятность, что занимаемое ими общее пространство поведет себя как часть двенадцатимерной гиперболы, или тринадцатимерного бублика, или четырнадцатимерной восьмерки, или чего угодно. На самом деле, как один фотон может двигаться сразу по двум траекториям, так и любое число таких возможностей может осуществляться одновременно, а суммируясь, порождать конечный результат. Девять пространственных измерений и одно временное – лишь усреднение.

Создатели ВТМ продолжают спорить о двух вопросах.

Что, собственно, означает «все-топологическое»? Насколько разнообразны возможности, создающие усредненное пространство? Включают ли они лишь такие, какие могут быть получены из скрученной многомерной пластмассовой пластинки, или среди них есть состояния, более похожие на (вероятно, бесконечную) горсть рассеянных песчинок, в которых сами понятия «числа измерений» и «кривизны пространства-времени» попросту теряют смысл?

И как именно рассчитать результирующий итог наложения всех этих структур? Как записать и сложить бесконечные возможности, когда придет время оценить теорию: сделать предсказания, вычислить физические свойства, которые можно будет проверить экспериментально?

На одном уровне, очевидный ответ: «прибегнуть к тому, что даст правильный результат», однако такие подходы трудно найти, а те, что найдены, сильно смахивают на подтасовку Суммы бесконечных последовательностей знамениты своей неоднозначностью. Я подобрал пример – не из настоящих тензорных уравнений ВТМ, но достаточно показательный:

Пусть $S = 1 - 1 + 11 - 1 + 11 - 1 + 11 - \dots$

Тогда $S = (11 - 1) + (11 - 1) + (11 - 1) + \dots = 0 + 0 + 0 \dots = 0$

Но $S = 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) \dots = 1 + 0 + 0 + 0 \dots = 1$

Это математически наивный «парадокс»; правильный ответ – что данная бесконечная последовательность не имеет определенной суммы. Математиков этот вердикт вполне устраивает, они придумали правила, как избегать ловушки, а программы умеют рассчитывать и не такое. Когда же с трудом созданная физическая теория начинает выдавать двусмысленные уравнения и приходится выбирать: либо чистая математика и теория без всякой предсказательной силы, либо маленькие практические отступления от правил и теория, которая выдает по заказу прекрасные результаты в полном согласии со всеми экспериментами... неудивительно, что народ досадует. В конце концов, то, что сделал Ньютон, чтобы рассчитать орбиты планет, взбесило тогдашних математиков.

Подход Вайолет Мосалы противоречив совсем по другой причине. Она получила Нобелевскую премию за доказательство десятка ключевых теорем общей топологии, которые быстро составили стандартный инструментарий физики ВТМ, убрали камни преткновения и разрешили двусмысленности. Ее последовательная, кропотливая работа более других способствовала созданию фундамента науки. Даже самые рьяные противники соглашаются, что математика у нее безупречна.

Беда в том, что Вайолет Мосала слишком много сообщает своим уравнениям о мире.

Окончательной проверкой ТВ будет ее способность ответить на вопрос: «Какова вероятность, что десятигигаэлектронвольтовое нейтрино, столкнувшись с неподвижным протоном, породит кварк и отлетит под определенным углом?» или даже «Какова масса электрона?». Мосала утверждает, что ответить на эти вопросы можно, лишь сделав допущение: «Мы знаем, что пространство-время приблизительно четырехмерно, общее пространство приблизительно десятимерно, устройство, которое проводит эксперимент, состоит приблизительно из...»

Ее сторонники говорят, что она всего лишь определяет контекст. Ни один опыт не происходит в пустоте; об этом вот уже двести двадцать лет твердит квантовая механика. Требовать, чтобы теория всего предсказала вероятность наблюдения некоего микроскопического события, не добавляя, что «существует Вселенная, и она содержит, кроме всего прочего, устройство для регистрации интересующего события», также бессмысленно, как спрашивать: «Какова вероятность, что шарик, который вы вынете из мешка, – зеленый?»

Критики Мосалы заявляют, что ее рассуждения – пример порочного круга: она принимает за данность результаты, которые только предстоит получить. Параметры, которые она вводит в свои расчеты, включают столько сведений об известной физике и существующем экспериментальном оборудовании – не прямо, но обязательно, – что все, по их мнению, лишается смысла.

Мне не хватает образования, чтобы встать на ту или другую сторону, однако мне кажется, что критики лицемерят. Они используют ту же хитрость под другой маской: их альтернативы предполагают установленную космологию. Они объявляют, что «до» Большого взрыва и сотворения времени (или «по соседству» с этим событием, чтобы избежать оксюморона) не было ничего, кроме совершенно симметричного «допространства», в котором все топологии были равнореальны, и «суммарный итог» наиболее привычных физических свойств оказывался бесконечным. Допространство иногда называют «бесконечно горячим»;

его можно интерпретировать как идеально равновесный хаос, в который превратится пространство-время, если накачать в него столько энергии, что любые события станут равновероятными. Любые события и их противоположность; в итоге не происходит ничего.

Однако какая-то частная флюктуация настолько нарушила равновесие, что вызвала Большой взрыв. С этого-то мелкого происшествия и началась наша Вселенная. Первоначальная «бесконечно горячая», бесконечно равномерная смесь топологий вынуждена была определиться, поскольку «температура» и «энергия» обрели смысл, а в расширяющейся, остывающей Вселенной большая часть старых «горячих» симметрий оказалась нестабильна, словно выплеснутый в озеро расплав. Так получилось, что застыли они в формах, приближающихся к некоему десятимерному общему пространству, которое порождает частицы, вроде кварков и электронов, и силы, подобные гравитационной и электромагнитной.

По этой логике, единственный правильный способ суммировать топологии – это признать, что наша Вселенная (случайно) вышла из допространства неким определенным способом. Подробности нарушенной симметрии приходится вводить в уравнения вручную – поскольку нет причины, почему бы им не быть совершенно иными. А если в результате получится, что вероятность образования звезд, планет, жизни исчезающе мала... значит, наша Вселенная – всего лишь один из множества застывших обломков допространства, каждый из которых обладает своим набором частиц и сил. Если перебрать все возможные комбинации, хоть одна да окажется пригодной для жизни.

Старая уловка, которая спасла тысячи космологий. И возразить нечего, пусть даже все прочие вселенные обречены навечно оставаться гипотетическими.

Впрочем, рассуждения Мосалы – такой же порочный круг. Ее противники «подбирают» некоторые параметры своих уравнений, учитывая свойства той Вселенной, которую создал «наш» Большой взрыв. Мосала и ее сторонники просто описывают реальные эксперименты в реальном мире настолько тщательно, что те «подсказывают уравнениям» ровно то же самое.

Сдается мне, обе группы физиков нехотя признаются, что не могут точно объяснить, как устроена Вселенная... забывая добавить, что сами живут в ней, ища объяснений.

За иллюминаторами стемнело, разговоры в салоне затихли. Один за другим гасли экраны компьютеров, пассажиры засыпали; всем им пришлось проделать далекий путь. Я смотрел, как меркнет на западе лиловая облачная гряда, потом переключился на карту полета. Перед самой Новой Зеландией мы повернули на северо-восток. Я вспомнил космические зонды, как они летят к Венере по параболической орбите в обход Юпитера. Казалось, мы проделали этот огромный кружной путь, чтобы набрать скорость, – как будто Безгосударство несется так быстро, что иначе его не догонишь.

Через час впереди наконец появилась бледная морская звезда острова. Шесть лучей отходят от центрального плато и плавно спускаются к океану; по их краям серые камни сменяются коралловыми отмелями – сплошные у берега, они чуть дальше превращаются в тонкое кружево, едва заметное по слабому прибою. Бледно-голубое биолюминесцентное свечение повторяет контуры рифов, постепенно переходя в другие цвета – раскрашенные изобаты живой навигационной карты. Между двумя лучами морской звезды сгрудились мигающие оранжевые светлячки: то ли рыбацьи лодки, то ли что-нибудь более экзотическое.

Россыпь огней сложилась в упорядоченный чертеж города. Мне вдруг стало не по себе. Безгосударство красиво, как любой атолл, впечатляет, как океанский лайнер... однако так ли оно надежно? *Что, если это причудливое творение человеческих рук погрузится в море?* Я привык стоять на твердой земле, насчитывающей миллиарды лет, или путешествовать на относительно небольших транспортных средствах. Еще на моей памяти этот остров был растворенными в Тихом океане минеральными солями – легко представить, как вода проникает в тысячи невидимых пор, растворяет его, возвращает в первозданное состояние.

Однако по мере того, как мы снижались и перед нами возникали дороги, улицы, здания, мой страх проходил. Миллион людей живет здесь, веря в прочность земли под ногами. Раз человек сумел удержать это чудо на плаву, значит, бояться нечего.

10

Самолет медленно пустел. Пассажиры, сонные и сердитые, словно дети, которых вовремя не уложили спать, двигались к выходу, многие держали в руках подушки и пледы. По местному времени сейчас было около девяти вечера, и биологические часы большинства пассажиров это подтверждали, но все мы выглядели помятыми, усталыми, ошарашенными. Я поискал глазами Индрани Ли, однако не нашел ее в толпе.

В конце кишки стояла рама металлодетектора, но я не заметил никого из служащих аэропорта, никакого устройства, чтобы предъявить паспорт. Безгосударство не ограничивает иммиграцию, тем более – временный въезд, однако запрещает ввоз некоторых предметов. Многоязычное табло рядом с воротами гласило:

Пронosite оружие, не стесняйтесь.

Мы не постесняемся его уничтожить.

АЭРОПОРТОВСКИЙ СИНДИКАТ БЕЗГОСУДАРСТВА

Я замялся. Если никто не прочтет мой паспорт и не примет к сведению сертификат на вживленную аппаратуру, что сделает со мной машина? Испепелит микросхемы за сто тысяч долларов и заодно поджарит большую часть моего пищеварительного тракта?

Я понимал, что брежу; до меня остров посещали многие журналисты. Надпись, вероятно, адресована гостям с частных южноамериканских островов – «убежищ свободы», основанных «политическими беженцами» из Соединенных Штатов, отменивших в двадцатых право владеть оружием; кое-кто из них уже пытался обратиться Безгосударство в свою веру.

Тем не менее я простоял несколько минут, надеясь, что придет кто-нибудь из служащих и устранил мои сомнения. Страховая компания отказалась отвечать за время моего пребывания в Безгосударстве, а в банке будут сильно недовольны, узнав, что я сюда летал, ведь большая часть микросхем в моем животе по-прежнему принадлежит им. По закону я не имею права рисковать.

Никто не появился. Я шагнул в раму – она была включена. Мое тело пересекло магнитный поток, потащило за собой, потом отпустило, словно резиновый, – однако микроволновые импульсы не обожгли мне живот, сирена не взвыла.

Из рамы я попал в аэропорт – такой же, как в большинстве европейских городков, с четкой архитектурой и переносными сиденьями, которые пассажиры расставляют в кружок. Только три авиакомпании держат здесь свои стойки, и то под значительно уменьшенными версиями логотипов, словно не хотят привлекать к себе внимания. Заказывая билеты, я не нашел в сети ни одной открытой рекламы рейсов, пришлось посылать специальный запрос. Европейская Федерация, Индия, несколько африканских и латиноамериканских стран поддерживают лишь минимальное эмбарго на поставку высокотехнологичного оборудования, как того требует ООН; их авиакомпании, организуя рейсы в Безгосударство, не нарушают закона. Тем не менее опасно злить японцев, корейцев, китайцев и правительство Соединенных Штатов, не говоря уже о международных биотехнологических гигантах. Скрытность ничего не меняет, однако выглядит жестом покорности и уменьшает желание примерно наказать отступников.

Я забрал чемоданы и постоял у багажного круга, стараясь прийти в себя. Другие пассажиры постепенно разбредались, кого-то встречали, кто-то уходил один. Большинство говорило на английском и французском; в Безгосударстве нет официального языка, но почти две трети населения мигрировали с островов Тихого океана. Поселиться здесь – решение политическое, и некоторые беженцы от парникового эффекта предпочитают годами жить в карантинных лагерях Китая, надеясь рано или поздно получить вид на жительство в этом предпринимательском раю; однако тому, чей дом смыло океаном, наверное, особенно отратно видеть

само-восстанавливающуюся (и растущую) землю. Безгосударство показывает, что все обратимо: солнце и биотехнология прокрутили ужасное кино назад. Все лучше, чем злиться на бурю. Фиджи и Самоа тоже выращивают новые острова, но те еще непригодны для жизни; к тому же оба правительства платят миллиарды долларов за консультантов и лицензии. Им не рассчитаться до двадцать второго века.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.